



К. М. СИМОНОВ

**«Глазами человека моего поколения»
[записи бесед с военачальниками]**

<Фрагменты>

Маршал Жуков

<...>

У нас часто принято говорить, в особенности в связи с предвоенной обстановкой и началом войны, о вине и об ответственности Сталина.

С одной стороны — это верно. Но с другой, думаю, что нельзя все сводить к нему одному. Это неправильно. Как очевидец и участник событий того времени, должен сказать, что со Сталиным делят ответственность и другие люди, в том числе и его ближайшее окружение — Молотов, Маленков, Каганович.

Не говорю о Берии. Он был личностью, готовой выполнить все, что угодно, когда угодно и как угодно. Именно для этой цели такие личности и необходимы. Так что вопрос о нем — особый вопрос, и в данном случае я говорю о других людях.

Добавлю, что часть ответственности лежит и на Ворошилове, хотя он и был в 1940 году снят с поста наркома обороны, но до самого начала войны оставался председателем Государственного Комитета Обороны. Часть ответственности лежит на нас — военных. Лежит она и на целом ряде других людей в партии и государстве.

Участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина в присутствии его ближайшего окружения, я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым; порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения.

Многие предложения Сталина, касавшиеся укрепления обороны и вооружения армии, встречали сопротивление и возражения. После этого создавались комиссии, в которых шли споры, и некоторые вопросы тонули в этих спорах. Это тоже была форма сопротивления.

Представлять себе дело так, что никто из окружения Сталина никогда не спорил с ним по государственным и хозяйственным вопросам, — неверно. Однако в то же время большинство окружавших Сталина людей поддерживали его в тех политических оценках, которые сложились у него перед войной, и прежде всего в его уверенности, что если мы не дадим себя спровоцировать, не совершим какого-нибудь ложного шага, то Гитлер не решится разорвать пакт и напасть на нас.

И Маленков и Каганович в этом вопросе всегда были солидарны со Сталиным; особенно активно поддерживал эту точку зрения Молотов. Молотов не только был сам человеком волевым и упрямым, которого трудно было сдвинуть с места, если уж он занял какую-нибудь позицию. По моим наблюдениям, вдобавок к этому он в то время обладал серьезным влиянием на Сталина, в особенности в вопросах внешней политики, в которой Сталин тогда, до войны, считал его компетентным. Другое дело потом, когда все расчеты оказались неправильными и рухнули, и Сталин не раз в моем присутствии упрекал Молотова в связи с этим. Причем Молотов отнюдь не всегда молчал в ответ. Молотов и после своей поездки в Берлин в ноябре 1940 года продолжал утверждать, что Гитлер не нападет на нас. Надо учесть, что в глазах Сталина в этом случае Молотов имел дополнительный авторитет человека, самолично побывавшего в Берлине.

Авторитет Молотова усиливался качествами его характера. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталиным и поддерживавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937–1938 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталиным, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру.

Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто на моей памяти и в моем присутствии высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был Жданов. Он неизменно говорил о немцах очень резко и утверждал, что Гитлеру нельзя верить ни в чем.

Как сложились у Сталина его предвоенные, так дорого нам стоившие заблуждения? Думаю, что вначале у него была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта. Хотя потом все вышло как раз наоборот.

Однако несомненно, что пакт с обеих сторон заключался именно с таким намерением.

Сталин переоценил меру занятости Гитлера на Западе, считал, что он там завяз и в ближайшее время не сможет воевать против нас. Положив это в основу всех своих прогнозов, Сталин после разгрома Франции, видимо, не нашел в себе силы по-новому переоценить обстановку.

Война в Финляндии показала Гитлеру слабость нашей армии. Но одновременно она показала это и Сталину. Это было результатом 1937–1938 годов, и результатом самым тяжелым.

Если сравнить подготовку наших кадров перед событиями этих лет, в 1936 году, и после этих событий, в 1939 году, надо сказать, что уровень боевой подготовки войск упал очень сильно. Мало того, что армия, начиная с полков, была в значительной мере обезглавлена, она была еще и разложена этими событиями. Наблюдалось страшное падение дисциплины, дело доходило до самовольных отлучек, до дезертирства. Многие командиры чувствовали себя растерянными, неспособными навести порядок¹.

Когда после финских событий я был вызван с Халхин-Гола и назначен командующим Киевским военным округом, Сталин, разговаривая со мной, очень резко отозвался о Ворошилове:

— Хвастался, заверял, утверждал, что на удар ответим тройным ударом, все хорошо, все в порядке, все готово, товарищ Сталин, а оказалось...

Я еще командовал Киевским военным округом, когда в декабре 1940 года мы проводили большую военную игру. В этой игре я командовал «синими», играл за немцев. А Павлов, командовавший Западным военным округом, играл за нас, командовал «красными», нашим Западным фронтом. На Юго-Западном фронте ему подыгрывал Штерн.

Взяв реальные исходные данные и силы противника — немцев, я, командуя «синими», развил операции именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы. Наносил свои главные удары там, где они их потом наносили. Группировки сложились примерно так, как потом они сложились во время войны. Конфигурация наших границ, местность, обстановка —

все подсказывало мне именно такие решения, которые они потом подсказали и немцам. Игра длилась около восьми суток. Руководство игрой искусственно замедляло темп продвижения «синих», придерживало его. Но «синие» на восьмые сутки продвинулись до Района Барановичей, причем, повторяю, при искусственно замедленном темпе продвижения.

В январе 1941 года состоялся разбор этой стратегической игры на Главном Военном Совете. Делая порученный мне основной доклад, я решил остановиться на некоторых тревожных для нас вопросах. Прежде всего на вопросе о невыгодном размещении системы новых укрепленных районов вдоль новой границы. Конфигурация границ делала это размещение невыгодным. Гораздо выгодней было бы разместить их, отодвинув примерно на сто километров вглубь. Я понимал, что эта точка зрения вызовет недовольство, потому что критикуемая мною система размещения укрепленных районов была утверждена Советом Труда и Оборона, в конечном счете Сталиным. Тем не менее я решил, что делать нечего. Придется об этом сказать.

Сталин внимательно слушал доклад и задал ряд вопросов мне и другим выступавшим. В частности, он спросил: почему «синие» были так сильны, почему в исходных данных нашей игры были заложены такие крупные немецкие силы? Ему было отвечено, что эти силы соответствуют возможностям немцев и основаны на реальном подсчете всех тех сил, которые они могут бросить против нас, создав на направлении своего главного удара большие преимущества. Этим и объясняется такое решительное продвижение «синих» во время игры.

Вскоре после этого разбора я был назначен начальником Генерального штаба.

Я не имел до этого опыта штабной работы и к началу войны, по моему собственному ощущению, не был достаточно опытным и подготовленным начальником Генерального штаба, не говоря уже о том, что по своей натуре и по опыту службы тяготел не к штабной, а к командной деятельности.

В начале 1941 года, когда нам стало известно о сосредоточении крупных немецких сил в Польше, Сталин обратился с личным письмом к Гитлеру, сообщив ему, что нам это известно, что нас это удивляет и создает у нас впечатление, что Гитлер собирается воевать против нас. В ответ Гитлер прислал Сталину письмо, тоже личное и, как он подчеркнул в тексте, доверительное². В этом пись-

ме он писал, что наши сведения верны, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но что он, будучи уверен, что это не пойдет дальше Сталина, должен разъяснить, что сосредоточение его войск в Польше не направлено против Советского Союза, что он намерен строго соблюдать заключенный им пакт, в чем ручается своей честью главы государства. А войска его в Польше сосредоточены в других целях. Территория Западной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается англичанами с воздуха. Поэтому он был вынужден отвести крупные контингенты войск на восток, с тем чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформировать их там, в Польше. Насколько я понимаю, Сталин поверил этому письму.

В дальнейшем становилось все более и более причин для тревоги. Перед лицом повторяющихся тревожных сигналов Наркомату обороны удалось добиться у Сталина разрешения на частичный призыв в кадры полумиллиона запасных и на переброску в западные округа еще четырех армий.

Я как начальник Генерального штаба понимал, что и переброска армий, и переброска мобилизованных к месту службы не могут остаться в секрете от немцев, должны встревожить их и обострить обстановку. А раз так, то одновременно с этими необходимыми мероприятиями нужно привести в боевую готовность войска пограничных округов. Я докладывал об этом Сталину, но он, после того как его две недели пришлось убеждать согласиться на первые два мероприятия, теперь на это третье мероприятие, непосредственно связанное с первыми двумя, согласия так и не дал. Он ответил, что приведение в боевую готовность войск, стоящих в пограничных районах, может привести к войне, а он убежден, что нам удастся славировать, объяснить и частичный призыв, и переброску армий таким образом, чтобы это не встревожило Гитлера.

Так получилось, что одни из мер были нами проведены, а другие — нет. По существу, мы остановились на полумерах, что никогда не приводит к добру.

Непорядок был у нас и с мобилизационным планом развертывания промышленности в военное время. В мае, на четвертый месяц после того как я принял Генеральный штаб от Мерецкова, я подписал в основном уже подготовленные еще до меня мобилизационные планы перевода промышленности на военные рельсы. Набравшись решимости, я поехал к Ворошилову, состоявшему

в то время Председателем Государственного Комитета Оборона, и буквально принудил его принять от меня на рассмотрение эти планы. Просто-напросто оставил их у него.

Несмотря на мои звонки, он в течение месяца так и не приступил к рассмотрению этих планов и только через месяц после нового звонка сказал, чтобы я к нему приехал: надо обсудить, как, с чьим участием и в каком порядке рассматривать планы. Поняв, что дело затягивается, я не поехал к нему, а позвонил Сталину и пожаловался на происходящее.

На следующий же день мы, военные, были вызваны на заседание Политбюро.

Последовал диалог между Сталиным и Ворошиловым.

— Почему вы не рассматриваете план?

— Мы только недавно его получили.

— Какого числа вы передали Ворошилову этот план? (Это уже был вопрос ко мне.)

Я сказал, что месяц назад.

После соответствующей реакции была назначена комиссия для рассмотрения плана. В комиссии было много споров и препирательств. Некоторые ее члены говорили, что-де у нас много других вопросов, надо все ломать, а мы не можем всего ломать и т. д.

Дело затягивалось и затягивалось. Видя это, мы решили добиться и добились, чтобы были приняты хотя бы отдельные решения по плану подготовки боеприпасов, по остальным пунктам этот план развертывания промышленности к началу войны так и не был утвержден.

Особенно тяжело обстояло в ту зиму и весну дело с боеприпасами. Новые, поставленные на вооружение артиллерийские системы, в том числе противотанковые, были обеспечены только пробными сериями снарядов. Из-за задержки со снарядами задерживалось и уже налаженное производство орудий.

Мы поставили вопрос о создании годового запаса снарядов на первый год войны, считая, что после перевода промышленности на военные рельсы производство, покрывающее нужды войны, может быть достигнуто только через год после ее начала.

Возникли споры.

Вознесенский, человек, знавший экономику, тут же мгновенно подсчитал, какое огромное количество снарядов мы хотим иметь в запасе, и с карандашом в руках начал доказывать, что согласно нашим расчетам мы планируем 500 снарядов для поражения одного танка противника.

— Разве это возможно?

Пришлось ответить ему, что это не только возможно, а необходимо, что будет отлично, если нам удастся обойтись даже не пятьюстами, а тысячью снарядов для уничтожения каждого немецкого танка.

— А как же быть с нормами поражения танков, записанными у вас во всех документах? — спросил Вознесенский.

— Так это же нормы поражения на учениях, а на войне другое дело.

Была создана комиссия.

После всех подсчетов убедились, что производство такого количества снарядов металлом обеспечить можно, но нельзя обеспечить порохами, с порохами дело обстояло из рук вон плохо³.

В итоге нашу заявку пока было предложено удовлетворить только на 15–20 процентов.

Говоря о предвоенном периоде и о том, что определило наши неудачи в начале войны, нельзя сводить все только к персональным ошибкам Сталина или в какой-то мере к персональным ошибкам Тимошенко и Жукова.

Все это так. Ошибки были.

Но надо помнить и некоторые объективные данные. Надо подумать и подсчитать, что представляли тогда собой мы и наша армия и Германия и ее армия. Насколько выше был ее военный потенциал, уровень промышленности, уровень промышленной культуры, уровень общей подготовленности к войне.

После завоевания Европы немцы имели не только сильную, испытанную в боях, развернутую и находившуюся в полной боевой готовности армию, не только идеально налаженную работу штабов и отработанное буквально по часам взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации. Немцы имели перед нами огромное преимущество в военно-промышленном потенциале. Почти втрое превосходили нас по углю, в два с половиной раза — по чугуну и стали. Правда, у нас оставалось преимущество по нефти — и по запасам, и по объему добычи. Но, даже несмотря на это, мы, например, к началу войны так и не имели необходимого нам количества высокооктанового бензина для поступающих на наше вооружение современных самолетов, таких, как МиГи.

Словом, нельзя забывать, что мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией.

Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально⁴. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не смогли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских «студебеккеров» нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок.

То есть то развитие военной промышленности, которое осуществлялось в ходе войны, и переход ее на военные рельсы были связаны не только с нашими собственными военно-промышленными ресурсами, имевшимися к началу войны, но и с этими поставками. И это тоже следует учитывать, сравнивая то, с чем мы вступили в войну и с чем — Германия, располагавшая притом еще и военной промышленностью всех захваченных ею стран Европы.

Наконец, надо добавить, что Гитлер со дня своего прихода к власти абсолютно все подчинил интересам будущей войны, все строилось в расчете на победу в этой войне, все делалось для этого и только для этого. А мы такой позиции не заняли, остановились на полумерах. Сталкивались друг с другом интересы ведомств, шла бесконечная торговля по каждому вопросу, связанному с вооружением армии и подготовкой к войне. Все это тоже надо класть на чашу весов, объясняя причины наших поражений и неудач первого года войны.

Сталин считал, и считал справедливо, что для того чтобы подготовиться к войне, нам нужно еще минимум два года. Они нужны были и для военно-стратегического освоения районов, занятых нами в 1939 году, и для реорганизации армии, в том числе технической, с которой мы сильно запоздали. Хотя за год, прошедший между концом финской кампании и началом войны, было немало сделано, но, чтобы оказаться вполне готовыми к войне, нам нужно было действительно еще около двух лет.

Сведения о предстоящем нападении немцев, шедшие от Черчилля и из других источников, Сталин считал вполне логичным стремлением англичан столкнуть нас с немцами и поскорее ввязать

нас в войну, к которой мы, по его убеждению, были не готовы. Он считал также, что провокации возможны не только со стороны англичан, но и со стороны некоторых немецких генералов, склонных, по его мнению, к превентивной войне и готовых поставить Гитлера перед свершившимся фактом. О сообщениях, переданных Зорге, несмотря на занимаемую мною тогда должность начальника Генерального штаба, я в то время ровно ничего не знал. Очевидно, доклады об этом шли непосредственно к Сталину через Берию, и Сталин не счел нужным сообщать нам об этих имевшихся у него донесениях.

Сведениями о дислокации значительных военных сил в Польше мы располагали, но Сталин в принципе считал само собой разумеющимся, что немцы держат у наших границ крупные части, зная, что и мы в свою очередь держим на границе немалое количество войск, и считаясь с возможностью нарушения пакта с нашей стороны. А непосредственное сосредоточение ударных немецких группировок было произведено всего за два-три последних дня перед войной. И за эти двое-трое суток разведчики не успели передать нам сведений, которые бы составили полную картину готовящегося.

Что такое внезапность?

Трактовка внезапности, как трактуют ее сейчас, да и как трактовал ее в своих выступлениях Сталин, неполна и неправильна.

Что значит внезапность, когда мы говорим о действиях такого масштаба? Это ведь не просто внезапный переход границы, не просто внезапное нападение. Внезапность перехода границы сама по себе еще ничего не решала. Главная опасность внезапности заключалась не в том, что немцы внезапно перешли границу, а в том, что для нас оказалась внезапной ударная мощь немецкой армии; для нас оказалось внезапностью их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях; для нас оказались внезапностью и масштабы сосредоточения их войск, и сила их удара. Это и есть то главное, что предопределило наши потери первого периода войны. А не только и не просто внезапный переход границы.

Начало войны застало меня начальником Генерального штаба. Обстановка для работы в Генеральном штабе в те дни была крайне трудной. Мы все время отставали, опаздывали, принимали запоздалые, несвоевременные решения

Наконец Сталин поставил передо мной прямой вопрос:

— Почему мы все время опаздываем?

И я ему на это тоже прямо ответил, что при сложившейся у нас системе работы иначе и быть не может.

— Я как начальник Генерального штаба получаю первую сводку в 9 утра. По ней требуется сейчас же принять срочные меры. Но я сам не могу этого сделать. Я докладываю наркому Тимошенко. Но и нарком тоже не может принять решения. Мы обязаны доложить это вам. Приехать в Кремль и дожидаться приема. В час или в два часа дня вы принимаете решения. Мы едем, оформляем их и направляем приказания на места. Тем временем обстановка уже изменилась. Мы хотели удержать такой-то пункт, скажем Ивановку, — придвинуть к ней войска. Но немцы за это время уже заняли ее. Наоборот, мы хотели вывести войска из какого-то другого пункта. А немцы тем временем уже обошли его и отрезали. Между получением данных, требующих немедленного решения, и тем решением, которое мы принимаем, проходит 7–8 часов. А за это время немецкие танки делают 40–50 километров, и мы, получив новые сведения, принимаем новое решение и снова опаздываем.

Я доложил Сталину, что, на мой взгляд, двухступенное командование невозможно.

— Либо я как начальник Генерального штаба должен докладывать Тимошенко, с тем чтобы он, ни с кем не согласовывая, немедленно принимал решения; либо я должен докладывать все это непосредственно вам, с тем чтобы эти решения немедленно принимали вы. Иначе мы будем продолжать опаздывать.

К началу июля неправильность принятой системы и гибельность проволочек стали ясны самому Сталину. Тимошенко был назначен командующим Западным направлением, а обязанности Верховного Главнокомандующего взял на себя Сталин. С ликвидацией этой двухступенности наша работа начала принимать более нормальный и более оперативный характер. Кроме того, состояние ошеломленности, в котором мы находились в первые десять дней войны, несколько смягчилось. Продолжали происходить тяжелые события, но мы психологически уже привыкли к ним и стремились исправить положение, исходя из реально складывавшейся обстановки.

Вспоминая предвоенный период, надо сказать, что, конечно, на нас — военных — лежит ответственность за то, что мы недостаточно настойчиво требовали приведения армии в боевую готовность и скорейшего принятия ряда необходимых на случай войны мер.

Очевидно, мы должны были это делать более решительно, чем делали. Тем более что, несмотря на всю непререкаемость авторитета Сталина, где-то в глубине души у тебя гнезвился червь сомнения, шевелилось чувство опасности немецкого нападения. Конечно, надо реально себе представить, что значило тогда идти наперекор Сталину в оценке общеполитической обстановки. У всех на памяти еще были недавно минувшие годы; и заявить вслух, что Сталин не прав, что он ошибается, попросту говоря, могло тогда означать, что, еще не выйдя из здания, ты уже поедешь пить кофе к Берии.

И все же это лишь одна сторона правды. А я должен сказать всю. Я не чувствовал тогда, перед войной, что я умнее и дальновиднее Сталина, что я лучше него оцениваю обстановку и больше него знаю. У меня не было такой собственной оценки событий, которую я мог бы с уверенностью противопоставить как более правильную оценкам Сталина. Такого убеждения у меня не существовало. Наоборот, у меня была огромная вера в Сталина, в его политический ум, его дальновидность и способность находить выходы из самых трудных положений. В данном случае в его способность уклониться от войны, отодвинуть ее. Тревога грызла душу. Но вера в Сталина и в то, что в конце концов все выйдет именно так, как он предполагает, была сильнее. И, как бы ни смотреть на это сейчас, — это правда.

<...>

Впервые в жизни я разговаривал со Сталиным в 1940 году, после своего возвращения с Халхин-Гола. Шел к нему, надо признаться, с некоторым трепетом в душе, но встретил он меня очень хорошо. Я увидел человека внешне, на первый взгляд, самого обыкновенного: небольшого роста, чуть ниже меня, спокойного, приветливого, показавшегося мне очень внимательным и человечным.

Он долго и обстоятельно расспрашивал меня о событиях в Монголии, о моих выводах.

Впечатления от последующих встреч со Сталиным сложились разные, да и сами эти встречи были очень разными. Он был человеком с большим чувством юмора я иногда, когда дела шли хорошо; бывал, как в первую нашу встречу, внимательным и человечным. Но в большинстве случаев, а в общем-то почти всегда, был серьезен и напряжен. В нем почти всегда чувствовалась эта напряженность, которая действовала и на окружающих. Я всегда ценил — и этого нельзя было не ценить — ту краткость, с которой он умел объяснять свои мысли и ставить задачи, не сказав

ни единого лишнего слова. Эту краткость он в свою очередь сам ценил в других и требовал докладов содержательных и кратких. Он терпеть не мог лишних слов и заставлял в таких случаях сразу переходить к существу дела.

При своем грузинском акценте он великолепно владел русским языком и, можно без преувеличения сказать, был знатоком его. Это проявлялось даже в мелочах. Однажды, еще в период моей работы начальником Генерального штаба, диктуя мне директиву и нетерпеливо заглядывая при этом через плечо, он вдруг сказал мне:

— Ну, а запятые я буду за вас расставлять?

И когда я полушутя сказал, что я не мастер на запятые, ответил совершенно серьезно:

— А неправильно поставленная запятая иногда может изменить суть сказанного.

Бывал он и груб, очень. По своему характеру я в некоторых случаях не лез за словом в карман. Случалось даже, что резко отвечал на его грубости, причем шел на это сознательно, потому что иногда надо было спорить, иначе я бы не мог выполнить своего долга.

Однажды, полушутя, полусерьезно обратившись к двум присутствовавшим при нашем разговоре людям, он сказал:

— Что с вами говорить? Вам что ни скажешь, вы все: «Да, товарищ Сталин», «Конечно, товарищ Сталин», «Совершенно правильно, товарищ Сталин», «Вы приняли мудрое решение, товарищ Сталин...». Только вот один Жуков иногда спорит со мной...

В конце июля 1941 года, еще находясь в должности начальника Генерального штаба, анализируя обстановку, я пришел к выводу, что немцы в ближайшее время не будут продолжать наступать на Москву до тех пор, пока не ликвидируют угрозу правому флангу своей нацеленной на Москву группировки со стороны правого фланга нашего Юго-Западного фронта.

В связи с этим я письменно изложил свои соображения о необходимости, оставив Киев, занять прочную оборону по восточному берегу Днепра, усилить правый фланг Юго-Западного фронта и сосредоточить за ним две резервные армии для парирования удара немцев. По моим предположениям, они могли нанести этот удар по правому флангу Юго-Западного фронта с выходом в его тылы.

Прочитав написанный мною документ, Сталин вызвал меня к себе. У него находились Берия и Мехлис. Сталин в их присутствии обрушился на меня, говоря, что я пишу всякую ерунду, горючу чепуху и так далее. Все это в очень грубой форме.

Я сказал в ответ на это:

— Товарищ Сталин, прошу вас выбирать выражения. Я начальник Генерального штаба, если вы как Верховный Главнокомандующий считаете, что ваш начальник Генерального штаба городит чепуху, то его следует отрешить от должности, о чем я и прошу вас.

В ответ на это он сказал мне:

— Идите, мы обдумаем вашу просьбу.

Я снова был вызван к нему через сорок минут, и Сталин уже более спокойным тоном сказал мне:

— Мы решили удовлетворить вашу просьбу. Вы освобождены от должности начальника Генерального штаба. Что вы хотите делать? Какую работу вам дать?

Я сказал, что могу пойти командовать корпусом, могу армией, могу фронтом. Думаю, что больше пользы принесу, командуя фронтом.

В тех моих письменных соображениях, из-за которых начался этот разговор и состоялось мое снятие с должности начальника Генерального штаба, я наряду с другим писал, что на Западном фронте необходимо ликвидировать уже занятый к этому времени немцами ельнинский выступ, грозящий нам большими осложнениями.

Теперь, когда речь зашла о том, кем и куда назначить, я сказал, что хотел бы получить возможность осуществить эту операцию.

— Хотите наступать? — иронически спросил Сталин.

— Да, — ответил я.

— Считаете, что с нашими войсками можно проводить наступление? — продолжал он так же иронически. — Им еще не удалось ни одно наступление, а вы собираетесь наступать?

Я отвечал, что да, и надеюсь на успех.

После того как я был назначен командовать фронтом и провел Ельнинскую операцию, я уже в своей новой должности вновь доложил Сталину прежние соображения об опасности удара немцев с северо-запада на юго-восток, в тыл нашему Юго-Западному фронту. На сей раз он отнесся к этим соображениям по-другому. И даже нашел в себе силы сказать мне:

— Вы мне правильно докладывали тогда, но я не совсем правильно вас понял.

После этого он заговорил о том, что Буденный плохо справляется с командованием Юго-Западным направлением.

— Кем, по вашему мнению, следовало бы его заменить?

Подумав, что он, быть может, имеет в виду меня, я ответил, что, на мой взгляд, на Юго-Западное направление следовало бы направить Тимошенко, он обладает авторитетом в войсках, опытом и вдобавок по национальности украинец, что имеет свое значение в условиях операций, развертывающихся на Украине.

Помолчав и, как я понял из последующего, приняв это решение, Сталин заговорил о Ленинграде и Ленинградском фронте. Положение, сложившееся под Ленинградом в тот момент, он оценивал как катастрофическое. Помню, он даже употребил слово «безнадежное». Он говорил, что, видимо, пройдет еще несколько дней и Ленинград придется считать потерянным. А с потерей Ленинграда произойдет соединение немцев с финнами, и в результате там создастся крайне опасная группировка, нависающая с севера над Москвой.

Сказав все это, он спросил меня:

— Что вы думаете делать дальше?

Я с некоторым удивлением ответил, что собираюсь ехать обратно, к себе на фронт.

— Ну а если не ехать обратно, а получить другое назначение?

Услышав это, я сказал, что, если так, я бы хотел поехать командовать Ленинградским фронтом.

— А если это безнадежное дело? — сказал он.

Я высказал надежду, что оно еще может оказаться не таким безнадежным.

— Когда можете ехать? — коротко спросил он.

Я ответил, что если ехать — предпочитаю немедленно.

— Немедленно нельзя. Надо сначала организовать вам сопровождение истребителей.

И сразу же позвонил авиаторам, запросив у них прогноз погоды. Пока ему давали прогноз погоды, он спросил, кого, по моему мнению, можно назначить моим преемником на Западном фронте. Я ответил, что командующего 19-й армией Конева.

Тем временем авиаторы дали прогноз. Прогноз на утро был плохой: туман. Сталин сказал:

— Дают плохую погоду. А для вас, значит, хорошую.

И тут же написал короткую записку:

«Ворошилову. ГОКО назначает командующим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова. Сдайте ему фронт и возвращайтесь тем же самолетом. Сталин».

Эта записка и была моим назначением.

Положив ее в карман, я утром сел в самолет, прилетел в Ленинград и принял фронт.

<...>

Сталин был человеком, который если за что-то уж однажды зацепится, то потом с трудом расстанется с этой своей идеей или намерением, даже когда объективные обстоятельства прямо говорят, что с первоначальным намерением необходимо расстаться.

В мае 1942 года Сталин сравнительно мягко отнесся к виновникам керченской катастрофы, очевидно, потому, что признавал свою персональную ответственность за нее. Во-первых, наступление там было предпринято по его настоянию, и такое количество войск тоже было сосредоточено по его настоянию. Ставка, Генеральный штаб предлагали другое решение. Они предлагали отвести войска с Керченского полуострова на Таманский и построить нашу оборону там. Но он не принял во внимание этих предложений, считая, что, действуя так, мы высвободим воевавшую в Крыму 11-ю немецкую армию Манштейна. В итоге вышло, что армия Манштейна все равно была высвобождена, а мы потерпели под Керчью тяжелое поражение.

Приняв неправильное решение, Сталин вдобавок отправил на Керченский полуостров таких представителей Ставки, которые обеспечили катастрофу: Мехлиса и Кулика. Последний вообще неспособен был разумно руководить чем-либо. Эти представители действовали под Керчью в сочетании со слабым, безвольным командующим фронтом Козловым. И когда это предприятие, начатое по настоянию Сталина и под руководством лично им направленных туда людей, закончилось катастрофой, они понесли меньшее наказание, чем, очевидно, понесли бы за то же самое при других обстоятельствах другие люди.

Уже в тот период, когда я стал заместителем Верховного Главнокомандующего и между выездами на фронт иногда по месяцу, по два работал в Москве, я однажды сказал Сталину, что все его ближайшие помощники, я в том числе, издергались и измотались до последней степени.

Он с некоторым удивлением спросил: «Почему?»

Я сказал ему, что, когда он работает по ночам, мы тоже в это время работаем. И пока нам не становится известным, что он уехал и лег спать, мы не уезжаем и не ложимся спать. А утром, когда он спит, у нас самое горячее время, мы вынуждены работать. Он встает в два часа и начинает работать, а мы, уже проработав к этому време-

ни все утро, находимся в любую минуту в готовности к его вызову. Так идет день за днем, месяц за месяцем. И люди измотаны этим.

Пока я ему все это говорил, он несколько раз переспрашивал меня, уточнял, даже выразил удивление тем, что никто не ложится спать, пока не лег он. Потом сказал:

— Хорошо. Обещаю вам, что больше не будут звонить вам ночью.

И действительно, с того дня до самого конца войны он ни разу не позвонил мне позднее двенадцати часов ночи. Один раз позвонил ровно в двенадцать, но свой разговор со мной начал с вопроса: «А вы еще не ложились спать, товарищ Жуков?» Я сказал, что нет, только собираюсь. Он задал какой-то деловой вопрос, не из числа самых существенных, и, сразу закончив разговор, сказал: «Ну, прощайте, отдыхайте».

<...>

Осенью 1944 года после завершения летней Белорусской операции во время разговора со Сталиным в Ставке по итогам этой операции он сказал мне:

— Вот видите, вы предлагали вначале, чтобы фронты наступали в иной последовательности, я с вами тогда не согласился и был прав. При той последовательности, которую мы установили, все получилось лучше.

Хорошо помня, как происходило дело при планировании этой операции, в которой я координировал действия двух фронтов, я возразил, что хотя все действительно вышло хорошо, но я и не предлагал другой последовательности действий фронтов.

— Как не предлагали? — сказал Сталин.

— Не предлагал. Давайте посмотрим директивы. Он выдвинул ящик стола, вынул директивы, сначала

сам начал читать, а потом протянул их мне и сказал:

— Читайте.

Я стал читать и вскоре дочитал до того места, из которого явствовало, что он неправ, что я действительно не предлагал иной последовательности введения в дело фронтов при проведении операции.

Он прервал меня, забрал у меня директивы и передал их Маленкову.

— Читайте.

Тот, вернувшись назад, дошел до этого же самого места и запнулся, видимо не зная, что ему делать дальше, потому что дальше

шел текст, вступающий в противоречие со словами Сталина. Запнулся, но все же продолжил чтение, — что ж делать!

Сталин забрал у него бумаги и дал Берии.

— Читай!

Стал читать Берия, но при всем желании ничего другого вычитать не мог.

Сталин забрал директивы и, сунув обратно в ящик, ничего не сказал, но чувствовалось, что он был очень недоволен. Почему-то именно в этом случае ему захотелось весь успех операции, связанный с правильностью ее планирования, оставить за собой.

<...>

Конев написал, что Сталин спросил его о возможности ввода в прорыв на его фронте, через его армии, двух танковых армий 1-го Белорусского фронта. Мне трудно поверить, что Сталин мог внести такое предложение, прежде всего потому, что, как это видно из слов самого Конева, в тот момент, когда Сталин спросил о такой возможности, обе танковые армии 1-го Белорусского фронта — и армия Катюкова, и армия Богданова — уже были введены мною своими первыми эшелонами в дело. Вынимать их из 1-го Белорусского фронта и перебрасывать для дальнейших действий на 1-й Украинский фронт в тот момент уже значило частично выводить их из боя. Сталин понимал, что это значит, и мне трудно представить, что он мог это предложить. Тем более трудно, что как раз в это время он спокойно отнесся к замедлению темпов нашего наступления на 1-м Белорусском фронте. Когда я доложил ему, что, как я и опасался, мы застряли, что немцы сосредоточили силы, оказывают ожесточенное сопротивление и наше продвижение замедлилось, мы все еще не можем прорваться в глубину, Сталин отреагировал на это очень спокойно.

— Ну что ж, — сказал он, — пусть, подтягивают резервы, пусть цепляются. Больше перебьете здесь, меньше останется в Берлине.

Такой была его реакция в тот трудный для нас день.

Она осталась такой же и в дальнейшем. Я рассчитывал поначалу, что 1 мая мы уже доложим об окончании боев за Берлин и что об этом можно будет объявить на майском параде. Когда 30 апреля я понял, что сделать этого мы не сможем, я позвонил Сталину и сказал, что нам придется еще дня два провозиться с Берлином. Я ожидал с его стороны недовольство, а может быть, и упреки. Но он против моих ожиданий сказал очень спокойно:

— Ну что ж, пока не сообщим. В это Первое мая все и так будут в хорошем настроении. Позже сообщим. Не надо спешить там, на фронте. Некуда спешить. Берегите людей. Не надо лишних потерь. Один, два, несколько дней не играют теперь большой роли.

Такой была его реакция на мои доклады и в начале боев за Берлин, и в конце их.

<...>

В стратегических вопросах Сталин разбирался с самого начала войны. Стратегия была близка к его привычной сфере — политике, и чем в более прямое воздействие с политическими вопросами вступали вопросы стратегии, тем увереннее он чувствовал себя в них.

В вопросах оперативного искусства в начале войны он разбирался плохо. Ощущение, что он владеет оперативными вопросами, у меня лично начало складываться в последний период Сталинградской битвы, а ко времени Курской дуги уже можно было без преувеличения сказать, что он и в этих вопросах чувствует себя вполне уверенным.

Что касается вопросов тактики, строго говоря, он не разбирался в них до самого конца. Да, собственно говоря, ему как Верховному главнокомандующему и не было прямой необходимости разбираться в вопросах тактики. Куда важнее, что его ум и талант позволили ему в ходе войны овладеть оперативным искусством настолько, что, вызывая к себе командующих фронтами и разговаривая с ними на темы, связанные с проведением операций, он проявлял себя как человек, разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше своих подчиненных. При этом в ряде случаев он находил и подсказывал интересные оперативные решения.

К этому надо добавить, что у него был свой метод овладения конкретным материалом предстоящей операции, метод, который я, вообще говоря, считаю правильным. Перед началом подготовки той или иной операции, перед вызовом командующих фронтами, он заранее встречался с офицерами Генерального штаба — майорами, подполковниками, наблюдавшими за соответствующими оперативными направлениями. Он вызывал их одного за другим на доклад, работал с ними по полтора, по два часа, уточнял с каждым обстановку, разбирался в ней и ко времени своей встречи с командующими фронтами, ко времени постановки им новых задач оказывался настолько хорошо подготовленным, что порой удивлял их своей осведомленностью.

Помню один из таких разговоров, когда он вдруг спросил меня про какую-то деревню, кем она занята — немцами или нашими. Мне, в то время руководившему действиями двух фронтов, было неизвестно, кем занята эта деревня. Я так и сказал ему об этом. Тогда он подвел меня к карте и, сказав, что эта деревня занята немцами, посоветовал обратить на нее внимание.

— Как населенный пункт она ничего из себя не представляет, — сказал он, — может быть, самой деревни после боев вообще не существует. Но если взять конфигурацию всего участка фронта, то пункт этот существенный и в случае активных действий немцев он может представить для нас известную опасность.

После того как я сам посмотрел на карте конфигурацию этого участка фронта, я должен был согласиться с правильностью его оценки. Это всего лишь один пример такого рода.

Пожалуй, при помощи такого метода он порой любил подчеркнуть перед нами свою осведомленность, но все же главное состояло в том, что его осведомленность была не показной, а действительной, и его предварительная работа с офицерами Генерального штаба для уточнения обстановки перед принятием будущих решений была работой в высшей степени разумной.

В начале войны — говоря так, я в этом смысле отмечаю как рубеж Сталинградскую битву — случалось, что, выслушивая доклады, он иногда делал замечания, свидетельствующие об элементарном непонимании обстановки и недостаточном знании военного дела.

Так, например, было, когда летом 1942 года мне пришлось докладывать ему по Западному фронту об операции, связанной со взятием Погорелого Городища. Я докладывал ему о нанесении двух ударов: справа — главного, слева — вспомогательного. Справа на карте была большая, глубокая красная стрела, слева — небольшая. Обратив внимание на эту вторую стрелу, он спросил:

— А это что такое?

Пришлось объяснить, что малая стрела обозначает вспомогательный удар.

— Какой еще там вспомогательный удар? Какого черта нам разбрасывать силы? Надо сосредоточить их в одном месте, а не разбрасывать.

Пришлось докладывать, как мною задуман этот вспомогательный удар, что, ударив в двух местах, мы должны создать у противника неуверенность, в каком из них наносится главный удар, должны сковать часть его резервов на направлении нашего

вспомогательного удара, чтобы он не успел ими маневрировать, когда на вторые сутки операции обнаружит, где мы в действительности наносим главный удар.

Несмотря на то что мое объяснение, казалось, было убедительным, он остался недоволен им. Я продолжал доказывать свое.

В конце концов он, так и не согласившись с моими доводами, сказал:

— Вас не переубедишь. Вы командующий фронтом и отвечаете за это.

Пришлось ответить, что я понимаю, что я командующий фронтом, и готов нести полную ответственность за то, что я предлагаю.

На этом и закончился тот разговор, довольно характерный для первого периода войны.

Впоследствии, во втором периоде, когда обсуждались планы операции, Сталин, наоборот, не раз сам ставил вопросы: нельзя ли нанести еще вспомогательный удар, продемонстрировать, растащить силы резерва противника? Именно с таким гораздо более глубоким пониманием этих вопросов было связано в дальнейшем планирование целой серии наших последовательных ударов разных фронтов, в особенности так называемых «десяти сталинских ударов» 1944 года».

Со времени Сталинграда Сталин придерживался своего собственного подхода к проблемам окружения и уничтожения немецких войск. Ход Сталинградской операции запал ему в память, и он неоднократно возвращался к ее опыту. Когда у нас потом намечалась операция на окружение немцев в районе Кривого Рога, мне пришлось с этим столкнуться в разговоре со Сталиным. Он возразил против наших намерений провести оперативное окружение немцев, с тем чтобы впоследствии завершить его тактическим окружением и уничтожить их в созданном нами котле. Возразил и поставил другую задачу, потребовал, чтоб мы создали угрозу окружения, которая заставила бы немцев поспешно отходить из Криворожского бассейна. Вспомнив при этом Сталинград, он сказал, что так же, как теперь, мы обещали там окружить и уничтожить немцев за десять дней, а провозились с ними два с лишним месяца.

Схожий разговор произошел со Сталиным и в более поздний период, когда уже в 1944 году с нашим выходом на направление Черновицы — Проскуров нами по общей обстановке намечалось окружение немцев. Во всяком случае, мы об этом думали.

Сталин позвонил и сказал:

— Чувствую, что вы там затеваете окружение. Пришлось подтвердить, что действительно такая

мысль у нас есть и ее подсказывает сама обстановка.

— Не надо этого, — сказал Сталин. — Сколько времени это займет у вас?

Мы ответили, что окружение и последующее уничтожение окруженного противника, очевидно, займет около месяца.

— Месяц, — сказал он, — говорите, месяц? И в Сталинграде то же говорили. А на самом деле займет и два и три месяца. Не надо его окружать на нашей территории. Надо его вышибать. Гнать надо, скорей освободить землю, весной надо будет сеять, нужен будет хлеб. Надо уменьшить возможность разрушений, пусть уходит. Создайте ему такую обстановку, чтобы быстрее уходил. Надо поскорее выгнать его с нашей территории. Вот наша задача. А окружение будете проводить потом, на территории противника.

Если говорить о директивах Сталина по использованию тех или иных родов войск, в частности артиллерии, так называемых «сталинских указаниях по военным вопросам», то с полным правом назвать их так, разумеется, нельзя. Обычно это были соображения, связанные с общим руководством войсками или с действиями тех или иных родов войск. В основе их лежали выводы, сделанные из предыдущего опыта войны, который предстояло использовать для руководства войсками в дальнейшем. Все это, как правило, разрабатывалось командующими родов войск и их штабами, Генеральным штабом, Антоновым, Василевским, мною, затем предлагалось на рассмотрение Сталина и после его утверждения как его указания шло в войска.

Профессиональные военные знания у Сталина были недостаточными не только в начале войны, но и до самого ее конца. Однако в большинстве случаев ему нельзя было отказать ни в уме, ни в здравом смысле, ни в понимании обстановки. Анализируя историю войны, надо в каждом конкретном случае по справедливости разбираться в том, как это было. На его совести есть такие приказания и настояния, упорные, не взирая ни на какие возражения, которые плохо и вредно сказывались на деле. Но большинство его приказаний и распоряжений были правильными и справедливыми.

Говоря это, нельзя забыть и о тех тяжелых моментах, которые бывали в разговорах со Сталиным. Однажды я был у него на до-

кладе вместе с Василевским. Василевский докладывал истинную обстановку, не соответствующую ни нашим ожиданиям, ни нашим намерениям. Немцы делали как раз обратное тому, что мы предполагали и чего хотели. Сталина этот неприглядный доклад вывел из себя. Он подошел к Василевскому и в упор спросил его:

— Вы на кого работаете, товарищ Василевский? Тот не понял — То есть как, товарищ Сталин?

— Вы на кого работаете, на англичан или на немцев?

Василевский повторил — Не понимаю вас, товарищ Сталин.

— Что вы не понимаете? Вы делаете такой доклад, как будто вы работаете не на нас, а на англичан...

Василевский побледнел. И когда мы после этого вдруг прервавшегося тяжелого разговора ехали с ним в машине, долго не мог прийти в себя. А утром мы вновь были с ним на докладе у Сталина, и Сталин вел себя так, словно этого вчерашнего разговора вообще никогда не было.

А вообще во второй период войны Сталин не был склонен к поспешности в решении вопросов, обычно выслушивал доклады, в том числе неприятные, не проявляя нервозности, не прерывал и, покуривая, ходил, присаживался, слушал.

В конце войны в нем как отрицательная черта заметна стала некоторая ревность, стало чаще и яснее чувствоваться, что ему хочется, чтобы все победы и успехи были связаны с ним, и что он ревнует к высоким оценкам тех или иных действий тех или иных командующих. Я, например, остро почувствовал это на Параде Победы, когда меня там приветствовали и кричали мне «ура», — ему это не понравилось; я видел, как он стоит и у него ходят желваки.

Вы спрашиваете, каким был Сталин в начале войны и каким в конце? Что в нем изменилось? Заметна ли была разница?

Прежде всего надо сказать, что Сталин остался Сталиным. Его принципиальные взгляды, привычки, его отношение к обстановке и к людям не претерпели решительных изменений. Само отношение к людям у него осталось прежнее, но война переоценила людей. В ходе войны стали видней, чем в начале, их заслуги, их возможности, их необходимость для дела, и с этим все больше связывалось отношение Сталина к людям. К Коневу, например, в начале войны он относился плохо, снимал с командования фронтами, а позже, когда Конеv вступил в командование Степным фронтом и дело у него пошло хорошо, успехи и удачные операции

сменяли друг друга, Сталин, видя, как Конев воюет, изменил к нему свое отношение. В ходе войны сам Сталин приобретал опыт и знания, стал понимать многое из того, чего не понимал вначале. Втянувшись в военную деятельность, стал глубже и справедливее в своих оценках. А кроме того, он стал вообще гораздо больше считаться с объективной действительностью. Точка зрения — «то, что я решил, может и должно быть» — уступила место более трезвым позициям, основанным на объективной оценке реальности. «Можно сделать только то, что можно сделать; то, чего нельзя сделать, — нельзя».

Он все более внимательно прислушивался к советам, возникала взаимосвязь между его стремлением прислушаться и считаться с советами и его все более глубоким пониманием военной обстановки. Одно рождало второе, а второе, в свою очередь, усиливало первое. Более глубокое понимание обстановки толкало на то, чтобы прислушиваться к советам, а прислушиваясь к ним, он все глубже вникал в вопросы войны.

Как я уже упоминал, в тех разговорах со Сталиным, которые были прямо связаны с ведением военных действий, мне за годы войны неоднократно приходилось выражать свое несогласие и вступать в споры. Очевидно, все это создало у него определенное мнение обо мне.

Когда я был уже снят с должности заместителя министра и командовал округом в Свердловске, Абакумов под руководством Берии подготовил целое дело о военном заговоре. Был арестован целый ряд офицеров, встал вопрос о моем аресте. Берия с Абакумовым дошли до такой нелепости и подлости, что пытались изобразить меня человеком, который во главе этих арестованных офицеров готовил военный заговор против Сталина. Но, как мне потом говорили присутствовавшие при этом разговоре люди, Сталин, выслушав предложение Берии о моем аресте, сказал:

— Нет, Жукова арестовать не дам. Не верю во все это. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя.

Так мне передали этот разговор, после которого попытка Берии покончить со мной провалилась.

<...>

*Беседы с маршалом Советского Союза
И. С. Коневым*

Разговор зашел об оценке в печати и в разговорах той отрицательной роли, которую в подготовке к войне сыграли аресты тридцать седьмого — тридцать восьмого годов в армии. Я в ходе разговора разделил этот вопрос на три части, вернее, на три проблемы, связанные друг с другом.

Первая — это избиение значительной части головки армии, то есть таких людей, как Тухачевский, Егоров, Якир, Уборевич, Кокорк, Блюхер, Дыбенко, Белов и ряд других.

Вторая проблема — это аресты, в большинстве случаев с последующим уничтожением, примерно двух третей высшего начальствующего состава — от комбригов до комкоров включительно.

И, наконец, третья проблема — это проблема воздействия самой атмосферы арестов, страха, вызванного этой атмосферой недоверия, — воздействие всего этого на моральный дух армии, на инициативу, на гражданское мужество, на умение, верней, решимость принять на себя ответственность в критической обстановке и так далее.

В связи с этим я вспомнил разговор с одним генералом, который рассказывал о сорок первом годе — как ему было приказано выходить с дивизией в приграничные лагеря без боевых патронов, без мин к минометам, без снарядов к орудиям. В таком положении он и встретил войну. Выслушав этот рассказ, я сказал своему собеседнику, что если бы не тридцать седьмой — тридцать восьмой годы со всей их атмосферой крайнего запугивания кадров, крайнего завинчивания гаек, крайней подозрительности к любому, не говоря уже о протесте, — к любому рапорту, обращению и так далее, то вы бы, очевидно, не вышли в предвоенной обстановке к границе, в лагерь без патронов и без снарядов. Очевидно, вы это считали бы невозможным для себя, вы бы подавали рапорта, вы бы что-то делали, чтобы не оказаться в таком угрожающем положении. И точно так же, как вы, так поступали бы десятки и сотни других военных, которые этого не делали только потому, что были угнетены, доведены до состояния молчания и неразумного повиновения предыдущей атмосферой тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Я имею в виду неразумное повиновение приказам нелепым и по существу преступным.

Я, говоря о третьей проблеме, изложил этот разговор Ивану Степановичу Коневу.

О второй и третьей проблемах мы говорили, в общем, мало, и к ним, очевидно, еще предстоит вернуться в разговорах. Хотя в общей форме Иван Степанович подтвердил, что все это имело глубоко отрицательное влияние на начало войны. А что касается первой проблемы — уничтожения головки армии — он высказался более подробно.

По его мнению, когда берут эту проблему отторженно и педантируют на ней, изображая дело так, что если бы эти десять, двенадцать, пять или семь человек не были бы оклеветаны и не погибли бы в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах, а были бы во главе армии к началу войны, то вся война выглядела бы по-другому, — это преувеличение. С его точки зрения, если оценивать военный опыт, военный уровень и перспективы этих людей, то тут нужно подходить индивидуально к каждому.

Блюхер, по его мнению, был к тридцать седьмому году человеком с прошлым, но без будущего, человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушел от гражданской войны и принадлежал к той категории, которую представляли собой к началу войны Ворошилов, Буденный и некоторые другие бывшие конармейцы, жившие не современными, прошлыми взглядами. Представить себе, что Блюхер справился бы в современной войне с фронтом, невозможно. Видимо, он с этим справился бы не лучше Ворошилова или Буденного. Во всяком случае, такую небольшую операцию, как хасанские события, Блюхер провалил. А кроме того, последнее время он вообще был в тяжелом моральном состоянии, сильно пил, опустился. (Я уже сейчас, записывая это, подумал о том, что этот последний момент мне не кажется достаточно убедительным, потому что в той обстановке, которая создалась к тридцать восьмому году — ко времени хасанских событий, когда Блюхер чувствовал себя уже человеком с головой, положенной под топор, трудно судить его за неудачное проведение операции. Это уже в значительной мере было результатом создавшейся атмосферы, а не только его руководства, хотя, может быть, оно и было неудачным, тут спорить не приходится. Да и опущенность, моральное состояние, пьянство — все это могло быть в значительной мере последствиями обстановки, создавшейся в армии и, в частности, на Дальнем Востоке вокруг самого Блюхера. — *К. С.*)

Тухачевский, по мнению И. С. Конева, человек даровитый, сильный, волевой, теоретически хорошо подкованный. Это его достоинства. К его недостаткам принадлежал известный налет

авантюризма, который проявился еще в польской кампании, в сражении под Варшавой. И. С. Конев говорил, что он подробнеем образом изучал эту кампанию, и, каковы бы ни были ошибки Егорова, Сталина на Юго-Западном фронте, целиком сваливать на них вину за неудачу под Варшавой Тухачевского не было оснований. Само его движение с оголенными флангами, с растянувшимися коммуникациями и все его поведение в этот период не производят солидного, положительного впечатления. По мнению И. С. Конева, некоторые замашки бонапартистского оттенка были у Тухачевского и потом. Но главным недостатком Тухачевского он считает, что тот не прошел ступень за ступенью всю военную лестницу и, хотя некоторое время был командующим округом, но непосредственно войсками командовал мало, командного опыта после гражданской войны имел недостаточно. Тем не менее если подводить итоги, то Тухачевского можно представить себе на одном из высших командных постов во время Великой Отечественной войны с пользой для дела.

Якир, по мнению Конева, человек умный, со способностями, но без настоящей военной школы, без настоящего военного образования, человек, не лишенный блеска, но не обладавший сколько-нибудь основательным военным опытом для руководства операциями крупного масштаба. Его Конев с трудом представляет себе в роли, скажем, командующего фронтом на Великой Отечественной войне.

Егорова и Корка он считает людьми средних способностей, образованными, знающими, выдержанными, но не блиставшими сколько-нибудь заметными военными дарованиями. Дыбенко и Белова он относит к той категории людей, таких, как Ворошилов и как Буденный, которые в военном отношении были целиком в прошлом, в гражданской войне, и, будь они живы, они были бы обречены на то, чтобы показать в условиях большой войны свою отсталость и беспомощность.

Самым крупным военным деятелем из числа всех погибших И. С. Конев считает Уборевича, оценивает его чрезвычайно высоко. Высоко оценивает его опыт в период гражданской войны. Высоко оценивает его как командующего округом, как человека, прекрасно знавшего войска, пристально и умело занимавшегося боевой подготовкой, умевшего смотреть вперед и воспитывать кадры. Плюс ко всему сказанному, по мнению И. С. Конева, Уборевич был человеком с незаурядным военным дарованием, в его

лице наша армия понесла самую тяжелую потерю, ибо этот человек мог и успешно командовать фронтом, и вообще быть на одной из ведущих ролей в армии во время войны.

Потом И. С. Конев говорил о том, что в общем в Отечественную войну, которая произвела отбор кадров, выдвинулись люди, хотя в большинстве своем и участвовавшие в гражданской войне, но без громкого прошлого за плечами. Это прошлое на них не давило, не навязывало им своих концепций, не заставляло смотреть назад — в гражданскую войну. Они заканчивали оформляться как военачальники уже после гражданской войны, проходили одну за другой нормальные ступени службы и именно поэтому шли вперед, а не останавливались на месте и не жили старым. И то, что из числа именно этих людей выдвинулись все ведущие кадры Великой Отечественной войны, не случайно.

Я согласился с этим, но сказал в ответ, что хотя война и производит отбор кадров, но она производила его после тридцать седьмого и тридцать восьмого годов на суженной, если можно так выразиться, основе. Тот материал, из которого войне предстояло отобрать кадры военачальников, этот материал произволом был сужен втрое, — кто знает, сколько могло выдвинуться способных людей из тех двух третей высшего командного состава, которые были уничтожены в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах и не участвовали в этом отборе кадров войной.

И. С. Конев говорил о том, как после тридцать седьмого года Сталин приглядывался к оставшимся кадрам и брал на заметку людей, которых он собирался выдвигать, на которых собирался делать ставку в будущей войне. Сам он, Конев, ощущал себя одним из таких людей, ощущал на себе внимание Сталина и его заинтересованность.

К таким людям, по его мнению, принадлежали в равной мере Жуков, за выдвижением которого Сталин очень следил и выдвижению которого активно помогал; Павлов, который не оправдал ожиданий Сталина, растерялся в первые дни войны на Западном фронте, но с которым до этого Сталин связывал большие надежды; Маркиан Попов, с которым Сталин тоже связывал большие надежды и не ошибался с точки зрения военных данных этого человека, но Попов сам помешал себе выдвинуться своим все усиливавшимся год от года пьянством.

В дальнейшем разговоре о предшествовавших войне военных биографиях ряда командармов, командующих фронтами И. С. Ко-

нев проводил мысль, что полноценного военачальника, способного командовать крупными соединениями, может создать только долгая военная школа, прохождение целого ряда ее ступеней — неторопливое, основательное, связанное с устойчивой любовью к пребыванию в войсках, проведению учений, к непосредственному командованию, к действиям в поле. Он, отзываясь о ряде людей, давал понять, что без этого разносторонний человек, с хорошим военным образованием, волевой и имеющий свой почерк в действиях на поле боя не может родиться. Одной штабной подготовки, длительной службы в штабах для этого недостаточно. Без того чтобы покомандовать полком, дивизией, корпусом, трудно стать командиром и командующим фронтом.

Я среди прочих вопросов задал вопрос о том, приходило ли ему как командующему фронтом когда-нибудь в голову, почему Сталин не бывает на фронтах, не посещает фронты, ставил ли он внутренне когда-нибудь это лыко в строку Сталину. Он наотрез сказал, что нет, он об этом никогда не думал, верней, никогда не ощущал как необходимость приездов Сталина на фронт и поэтому и не ждал их и не ставил в упрек Сталину то, что он этого не делает. В этом не было никакой нужды. Находясь в Москве, в Ставке Верховного главнокомандования, Сталин был именно в том месте, где он и должен был находиться, откуда он мог управлять всем, чем ему должно было управлять. Он не был человеком поля боя, он неважно разбирался в топографии, не чувствовал ее. Он воспринимал географию, большие категории, крупные населенные пункты, общую стратегическую обстановку, и, для того чтобы разбираться в этих вопросах, руководить, исходя из этого, ему не было никакой необходимости выезжать на фронт.

О себе И. С. Конев сказал, что к началу войны он безгранично верил Сталину, любил его, находился под его обаянием.

Первые сомнения, связанные со Сталиным, первые разочарования возникли в ходе войны. Взрыв этих чувств был дважды. В первые дни войны, в первые ее недели, когда он почувствовал, что происходит что-то не то, ощутил утрату волевого начала отсюда, сверху, этого привычного волевого начала, которое исходило от Сталина. Да, у него было тогда ощущение, что Сталин в начале войны растерялся. И второй раз такое же ощущение, еще более сильное, было в начале Московского сражения, когда Сталин, несмотря на явную очевидность этого, несмотря на обращение фронта к нему, не согласился на своевременный отвод войск на Можай-

ский рубеж, а потом, когда развернулось немецкое наступление и обстановка стала крайне тяжелой, почти катастрофической, Сталин тоже растерялся.

Именно тогда он позвонил на Западный фронт с почти истерическими словами о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам, товарищ Сталин сделает все, что в его силах, чтобы исправить сложившееся положение». Вот тут И. С. Конев почувствовал крайнюю растерянность Сталина, отсутствие волевого начала.

А когда на фронт приехал с комиссией Молотов, который, вообще говоря, человек крайне неумный, и те, кто о нем жалеет, просто плохо знают его, — вот тогда при участии Молотова попытались свалить всю вину на военных, объявить их ответственными за создавшееся положение, — вот тут у Конева возникло ощущение, что Сталин не соответствует тому представлению о нем, которое сложилось у него, Конева, представлению о чем-то бесконечно сильном. Представление это оставалось, но за ним стоял растерявшийся в тот момент человек. Растерявшийся и во многом виновный.

Но вины считать было не время, и в обстановке этого вакуума, растерянности надо было возмещать своими волями отсутствие воли сверху и делать все возможное для спасения положения.

<...>

Во-первых, нельзя ставить точку на арестах тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Атмосфера продолжала оставаться напряженной. Хотя в тридцать девятом году довольно много военных выпустили, но и после этого бывали аресты. В частности, перед самой войной, пятнадцатого и шестнадцатого июня, — и в армии это знали — были арестованы ни больше ни меньше как командующий всей авиацией, главный инспектор авиации и начальник войск ПВО Рычагов, Смушкевич и Штерн. Как это могло дополнительно воздействовать на армию в такой момент? Хорошо бы выяснить, что означал этот арест, как все это произошло, по каким мотивам.

Аресты весны и лета сорок первого года, происшедшие после обострения ситуации, после нападения Германии на Югославию и после выявившейся уже совершенно четко опасности войны, видимо, носили тот самый превентивный характер, который носили и другие акции такого рода. Арестованы были Штерн, Смушкевич,

Рычагов, ряд командующих авиационными округами, некоторые другие генералы. А ряд людей был подготовлен к аресту. Как теперь выяснилось, должны были арестовать, например, Говорова.

Видимо, цель этой акции — в предвидении войны ликвидировать еще каких-то недостаточно надежных, с точки зрения Сталина или не его прямо, а соответствующих органов и анкет, людей.

Вместо того чтобы в преддверии войны собрать армию в кулак и думать о действительной опасности, об опасности, надвигавшейся на границах, о приведении войск к предельной боевой готовности, думали о том, кто еще может оказаться изменником, кто еще может оказаться на подозрении, кого еще надо изъять до того, как немцы нападут на нас, если нападут. Вот о чем заботился в это время Сталин. Наряду с другими, конечно, делами. Но эти заботы отнимали у него немало внимания. А теперь в связи с разговором.

Определение меры ущерба, нанесенного армии арестами тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, выбытием огромного количества командных кадров, в том числе высших, — проблема очень сложная психологически. К ней надо подходить очень осторожно и очень справедливо. В конце концов надо взять как аксиому, что, по нашим представлениям, сложившимся к тридцать седьмому — тридцать восьмому годам, мы не можем делать окончательные выводы о том, кто бы и как воевал в сорок первом году с немцами. Это один из коренных вопросов. Ответить на то, кто из погибших тогда людей как воевал бы с немцами, как мы и в какой срок победили бы немцев, будь живы эти люди, — все это вопросы, к сожалению, умозрительные.

В то же время существует факт непреложный, что те люди, которые остались, выросли в ходе войны и оказались у руководства армией, именно они и выиграли войну, находясь на тех постах, которые они постепенно заняли. И их право — помнить об этом и относиться с известной горячностью и нервозностью к разговорам о том, что все бы пошло по-другому, если бы были живы те, кто погиб в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах.

Мне кажется, что справедливее ставить вопрос в другом аспекте. Неизвестно, как бы воевали Тухачевский или Дыбенко — беру крайние точки, — но не подлежит сомнению, что если бы тридцать седьмого — тридцать восьмого годов не было, и не только в армии, но и в партии, в стране, то мы к сорок первому году были бы несравненно сильнее, чем мы были. В том числе и в военном отношении. Во-первых, были бы сильнее, потому что у нас было бы еще

несколько сот тысяч передовых, преданных коммунизму людей, которых ни за что ни про что погубили в те годы. Эти люди находились бы на командных постах в стране и в армии, на разных командных постах от самых высоких до самых маленьких. Находились бы не только они, но и они, и они составляли бы больше половины командного состава и в армии, и в промышленности, и в хозяйстве, и в партийных органах. И вот все они без всяких оснований были уничтожены. И мы начали, если говорить о руководящих кадрах во всех сферах, войну с тридцатью или сорока процентами тех кадров, которые могли бы иметь, не будь тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Тут не надо персонифицировать: такой-то воевал бы так-то, такой-то — так-то. Не в этом дело. Дело в том, что воевали бы и все они, те, которые выбыли. И не только воевали — в армии и партизанских отрядах, но и хозяйствовали, работали в тылу, вообще занимались бы важным делом, вместо того чтобы пилить дрова, рубить лес, если только не были поставлены к стенке.

И наконец, атмосфера. Представим себе войну сорок первого года с иной атмосферой, с тем, что не было тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, не было запуганности, не было недоверия, не было шпиономании. Если бы всего этого не было, очевидно, страна ни в коем случае не оказалась бы такой неготовой к войне, какой она оказалась. Это исключено. Только обстановкой чудовищного террора и его отрыжкой, растянувшейся на ряд лет, можно объяснить нелепые предвоенные распоряжения.

<...>

Однажды летом сорок второго года вдруг Сталин звонит ко мне на фронт и спрашивает:

- Можете ли вы приехать?
- Могу.
- Приезжайте.

Я был тогда на Калининском фронте. Взял самолет, прилетел в Москву. Являюсь к Сталину. У него Жуков и, уже не могу вспомнить, кто-то еще из нашего брата. Сталин с места в карьер спрашивает меня:

- Пьесу Корнейчука «Фронт» в «Правде» читали?
- Читал, товарищ Сталин.
- Какое ваше мнение?
- Очень плохое, товарищ Сталин.
- Почему плохое?

Чувствую, что попадаю не в тон настроения, но уже начал говорить — говорю дальше. Говорю, что неправильно, вредно так высмеивать командующего фронтом. Если плохой командующий, в вашей власти его снять, но, когда командующего фронтом шельмуют, высмеивают в произведении, напечатанном в «Правде», это уже имеет не частное значение, речь идет не о ком-то одном, это бросает тень на всех.

Сталин сердито меня прервал:

— Ничего вы не понимаете. Это политический вопрос, политическая необходимость. В этой пьесе идет борьба с отжившим, устарелым, с теми, кто тянет нас назад. Это хорошая пьеса, в ней правильно поставлен вопрос.

Я сказал, что, по-моему, в пьесе много неправды. В частности, когда Огнев, назначенный вместо командующего фронтом, сам вручает ему предписание о снятии и о своем назначении, то это, с точки зрения любого военного, не лезет ни в какие ворота, так не делается. Тут у меня сорвалась фраза, что я не защищаю Горлова, я скорей из людей, которых подразумевают под Огневым, но в пьесе мне все это не нравится.

Тут Сталин окончательно взъелся на меня:

— Ну да, вы Огнев! Вы не Огнев, вы зазнались. Вы уже тоже зазнались. Вы зарвались, зазнались. Вы военные, вы все понимаете, вы все знаете, а мы, гражданские, не понимаем. Мы лучше вас это понимаем, что надо и что не надо.

Он еще несколько раз возвращался к тому, что я зазнался, и пушил меня, горячо настаивая на правильности и полезности пьесы Корнейчука. Потом он обратился к Жукову:

— А вы какого мнения о пьесе Корнейчука? Жукову повезло больше, чем мне: оказалось, что он еще не читал этой пьесы, так что весь удар в данном случае пришелся по мне.

Однако — и это характерно для Сталина — потом он дал указание: всем членам Военных советов фронтов опросить командующих и всех высших генералов, какого они мнения о пьесе Корнейчука. И это было сделано. В частности, Булганин разговаривал у нас на фронте с командующим артиллерией Западного фронта генералом Камерой. Тот ему резанул со всей прямоотой: «Я бы не знаю что сделал с этим писателем, который написал эту пьесу. Это безобразная пьеса, я бы с ним разделался за такую пьесу». Ну, это, разумеется, пошло в донесение, этот разговор с Камерой.

В следующий мой приезд в Москву Сталин спрашивает меня, кто такой Камера. Пришлось долго убеждать его, что это хороший, сильный командующий артиллерией фронта с большими заслугами в прошлом, таким образом отстаивать Камеру. Это удалось сделать, но, повернись все немного по-другому, отзыв о пьесе Корнейчука мог ему дорого обойтись.

Очень интересной была реакция Сталина на наше предложение присвоить ему звание генералиссимуса. Это было уже после войны. На заседании Политбюро, где обсуждался этот вопрос, присутствовали Жуков, Василевский, я и Рокоссовский (если не ошибаюсь). Сталин сначала отказывался, но мы настойчиво выдвигали это предложение. Я дважды говорил об этом. И должен сказать, что в тот момент искренне считал это необходимым и заслуженным. Мотивировали мы тем, что по статуту русской армии полководцу, одержавшему большие победы, победоносно окончившему кампанию, присваивается такое звание.

Сталин несколько раз прерывал нас, говорил: «Садитесь», а потом сказал о себе в третьем лице:

— Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса. Зачем это нужно товарищу Сталину? Товарищу Сталину это не нужно. Товарищ Сталин и без этого имеет авторитет. Это вам нужны звания для авторитета. Товарищу Сталину не нужны никакие звания для авторитета. Подумаешь, нашли звание для товарища Сталина — генералиссимус. Чан Кайши — генералиссимус, Франко — генералиссимус. Нечего сказать, хорошая компания для товарища Сталина. Вы маршалы, и я маршал, вы что, меня хотите выставить из маршалов? В какие-то генералиссимусы? Что это за звание? Переведите мне.

Пришлось тащить разные исторические книги и статуты и объяснить, что это в четвертый раз в истории русской армии после Меншикова и еще кого-то, и Суворова.

В конце концов он согласился. Но во всей этой сцене была очень характерная для поведения Сталина противоречивость: пренебрежение ко всякому блеску, ко всякому формальному чиновничеству и в то же время чрезвычайное высокомерие, прятавшееся за той скромностью, которая паче гордости.

<...>

Вы знаете, какая вещь? Сталин очень верил людям, как это ни странно звучит. Он был очень доверчивым человеком. Это была своеобразная сторона его мании величия, его очень высокого мне-

ния о самом себе. И, когда он смотрел на человека, разговаривал с ним, он считал, что человек, глядя ему в глаза, не может ему соврать, что он должен сказать ему правду и говорит ему правду. Вот почему он оказывался доверчивым, и люди преспокойно ему лгали и втирали очки.

И вы не совсем правы, когда говорите, что Сталин знал цену Ежову, Берии, всегда знал и что они были просто орудием в его руках. Это, с одной стороны, так, а с другой стороны, они его и обманывали. В особенности Берия. Это был человек умный, хитрый, сильный, и он был большой мастер втирать очки. Такой авантюрист, который шел на все. И Сталину он втирал очки. Тот считал, что он его не может обмануть, а он его преспокойно обманывал. А Сталин ему доверял. А к старости особенно. Тут сказывалась к старости и национальная черта, возвращалась привызанность национальная: говорил с ним на одном языке — это все тоже играло роль.

В связи с этими словами Конева у меня родилось одно возражение и одна мысль. Возражение такое. Если у Сталина была эта уверенность, что ему не могут врать, — а я склонен в это верить, это очень психологически точно: слепота, рождающаяся в результате сознания собственного величия, вера в то, что люди не могут солгать, рождающаяся в результате собственного самоощущения. Если это было так — а это, очевидно, было так, — то как объяснить, что, имея это все в душе, в характере, в складе психическом, он не допросил лично никого из своих соратников, посаженных им и казненных в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах? Никого из военных, таких, как Тухачевский, Уборевич, Якир и другие? Почему он не стал с ними разговаривать? Почему он не перепроверил, зная методы допросов, на которые он сам дал санкцию вместе со Ждановым в тридцать шестом году, в конце его? Видимо, не хотел. Видимо, боялся наткнуться на то, что они будут отрицать первоначальные показания, поставят его в сложное положение. Или он должен будет поверить им — тогда надо их выпустить, тогда нет непогрешимости ни у него, ни у НКВД, тогда все это подвергается сомнению; или ему надо будет делать вид, что он им не поверил, а это тоже усложняло дело.

А правда, как мне кажется, заключалась в том, что он, конечно, не верил всем возводимым на них обвинениям, но он охотно шел навстречу этим обвинениям. Он хотел определенную категорию

людей ликвидировать, считал, что он справится и без них, а эти люди, связанные с прошлым, связанные с прошлой оценкой его деятельности, относятся к нему в душе слишком критически для того, чтобы он мог их оставить живыми. Они были ему не нужны — так он считал. И они могли исчезнуть.

Ведь при всех реабилитациях тридцать девятого года, которые втихую производились довольно широко, при том, что вернулось тогда довольно много людей, в том числе и военных, это все была относительно мелкая сошка по занимаемым должностям, — конечно, в сравнении с теми, кто прошел по первому военному процессу. Это были комбриги. Не знаю, были ли комдивы. Может, были, но не выше того. Из комкоров и командармов 2-го и 1-го ранга никто не вернулся. На сколько-нибудь известной фигуре правильность действий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов не была поставлена под сомнение; она была поставлена под сомнение только на тех фигурах, об аресте которых товарищ Сталин мог не знать, на арест которых товарищ Сталин мог не давать санкции, арест которых произошел из-за увлечения местных органов, из-за их искривления правильной линии бдительности, из-за их ошибок, из-за их вредных действий. А ни одного такого человека, о котором могли бы предполагать, что только Сталин мог дать санкцию на его арест, а потом Сталин же его и выпустил, то есть признал свою ошибку, ни одного такого человека — ни военного, ни гражданского — выпущено не было.

А мысль по этому поводу такая. Да, это верно, конечно, что Сталин настолько верил в свою проницательность, что, решившись его обмануть, это было не так трудно сделать, особенно при внутреннем цинизме, той внутренней подлости, которой было достаточно у такого человека, как Берия, скажем. Но, вообще говоря, это ощущение, что ты стоишь перед ним, как стеклянный, что он смотрит и видит тебя насквозь, — это ощущение, пожалуй, возникало не от каких-то качеств его природы или гипнотической силы его взгляда. Это не он смотрел на нас. Это мы видели себя насквозь его глазами — вот в чем ирония судьбы. Вот в чем, пожалуй, суть всего этого и опасность всего этого. Поэтому человек честный, преданный делу, а через это дело преданный и Сталину, считал, что Сталин видит его насквозь, и говорил ему правду. А человек, переступивший порог, грань цинизма и не веривший ни в дело, ни в Сталина, ни в бога, ни в черта, преспокойно врал ему, — и это ему сходило самым наилучшим образом, как сходило

столько раз Берии, несмотря на всю пронизательность, которая приписывалась Сталину.

Еще одна мысль в связи с разговорами с Коневым. Я много думал над тем, в чем секрет того драматического звонка Сталина Коневу под Вязьму, когда Сталин говорил о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам, товарищ Сталин сделает все, что в его силах, чтобы исправить создавшееся положение». В чем дело? Почему он так говорил в тот момент? И вдруг я вспомнил Павлова, Климовских, весь этот июльский расстрел сорок первого года, когда были расстреляны командующий, начальник штаба Западного фронта, еще несколько генералов за мнимую их измену, когда они были объявлены изменниками и предателями, хотя они просто-напросто были, очевидно, людьми, слабо справлявшимися со своими обязанностями, с масштабом этих обязанностей, растерявшимися, но субъективно абсолютно далекими от какого бы то ни было намека на предательство. Значит, когда произошли вот эти тяжкие неудачи начала войны, Сталин думал о предательстве. Он объяснял это предательством. В какой мере искренне и в какой мере неискренне — это другой вопрос. Я думаю, имело место и то и другое. В какой-то мере он искренне считал сложившуюся ситуацию неожиданной и невероятной, потому что сам до этого отметал от себя всякие тревожные доклады и заставлял докладывать себе в определенном духе. Таким образом, несмотря на весь поворот после финской войны, он все-таки до конца не знал положения, потому что не хотел его знать, считал его лучшим, искренне считал его лучшим, чем оно было, поэтому тяжесть поражений первых недель войны произвела на него особенно потрясающий эффект. Но в то же время — одно вполне могло сочетаться с другим — он считал это простейшим выходом из положения, самым понятным объяснением, отводившим упреки от него, переносившим удар на других. Это было важно для него, потому что период его растерянности первых дней, о котором много говорится, — это период, видимо, психологически сложный. Не просто он растерялся, струсил — он почувствовал ответственность. Он понимал, что ответственность на нем. Он понимал, что неверно оценил политическое положение, не прислушался к сигналам. Все он это понимал. И это тоже является причиной его растерянности первых дней.

И вот тут-то, когда наступил следующий приступ растерянности и отчаяния в критические октябрьские дни, — в этот момент он подумал о себе, как о Павлове и иже с ним, что его теперь могут счесть предателем, его могут счесть изменником после всех неудач, его могут обвинить, как предателя родины, на него могут поднять руку. И психологическое потрясение, сознание, что то обвинение, которое он обращал против других, может быть вдруг в этот критический момент повернуто против него, и вызвали этот крик души.

Представим себе, что самолет наших военно-воздушных сил, посадив на борт все то высшее начальство армии, которое погибло в результате процесса тридцать седьмого года, начиная с Тухачевского, Уборевича и Якира, просто гробанулся, и все эти 10-15-20 человек наиболее видных военачальников нашей армии погибли. И все. И на этом была бы поставлена точка. Сыграло бы это отрицательную роль в войне, которая началась через четыре года после этого? Разумеется, какую-то отрицательную роль сыграло. Но в нормальной обстановке на месте погибших выросли бы новые кадры, они бы заменили их, концепции и стратегические и оперативные не были бы подвергнуты сомнению, процесс арестов и избиений в армии не развернулся бы, и все это было бы не столь чувствительно. Поэтому абстрактно говорить, что вот были бы эти 15 человек во главе армии, то в сорок первом году было бы все в порядке, — неправильно. Дело не в этих пятнадцати, хотя потеря их очень чувствительна для армии, тем более такая чудовищная потеря и такая трагическая, бессмысленная, нелепая. Дело в том, что вслед за ними были выбиты тысячи людей, что была обезглавлена армия, обезглавлена в самом широком масштабе, когда, если взять тот пример, что приводил Москаленко, на Хасане бригаду вел заместитель командира одного из батальонов или командир роты, потому что командир бригады был посажен и все командиры батальонов тоже. И начальник штаба просил, умолял не сажать его прежде, чем он не сводит бригаду в бой, если не убьют — потом посадят. Но его, конечно, посадили, и не повел он бригаду в бой, а бригаду повел какой-то комроты и засадил ее в болото. Так вот, если бы всего этого не было, то не произвела бы такого оглушительного впечатления гибель даже пятнадцати лучших военачальников. И не произвела бы она таких сокрушительных последствий.

А главное, помимо всех потерь в людях, не было бы той тяжелой атмосферы, разлагавшей армию, и государство, и народ, и партию,

которая была создана в результате репрессий тридцать седьмого года, не было бы атмосферы этого всеобщего страха.

И, думая над темой — Сталин и война, очень важно установить для себя этапы психологии Сталина, этапы его отношений к людям, к командующим фронтами в том числе. Это очень важно, потому что этапы это были разные, и личность Сталина как главнокомандующего формировалась во время войны. Сначала, в 37-м году, Сталин считал, что любые кадры «под моим руководством сделают все». Потом, в войну, стало очевидным, что — нет, не любые. Отсюда — перемена отношения к кадрам во время войны.

Размышляя над отношением Сталина к командующим фронтами и другим лицам высшего военного командования, следует напомнить одно немаловажное обстоятельство.

При том, что Сталин соединял в одних руках и власть председателя Совнаркома, потом Совета Министров, и власть руководителя партии и ее генерального секретаря, среди всех его должностей, которые соединялись все вместе в эту власть, единую власть, — была одна временная, особая, определявшая собой и его временное особое отношение к определенной категории людей. Это должность Верховного главнокомандующего.

По отношению к командующим фронтами Сталин был не только руководитель государства, партии, то есть человек, в этой ипостаси своей находившийся на много ступеней от них, отделенный от них целой иерархией — партийной, государственной. В должности главнокомандующего Сталин был их непосредственным начальником. Это были его прямые подчиненные. И это отражалось на его отношении к ним. Это было временно, на время войны, его собственное ведомство. Его люди, его подчиненные, его самые близкие, непосредственные подчиненные.

В каком-то смысле между ним и этими подчиненными были посредники в качестве представителя Ставки, или заместителя главнокомандующего, или начальника Генерального штаба, но это в одних случаях было, а в других не было. Во многих случаях никакого средостения не было. Был командующий фронтом и над ним Сталин. Сталин и под ним командующий фронтом.

Главнокомандование во время войны для него было новым видом деятельности, и успехи в этом новом виде деятельности, так же как и неудачи, были для него особенно чувствительны. И он гордился своими успехами в этом новом для него виде деятельности

и гордился успехами своих подчиненных. Прямых подчиненных, людей, с которыми он повседневно имел дело.

Вот, между прочим, секрет того положения, которое по отношению к командующим занимали члены военных советов. Сталин в конфликтах, возникавших в этих случаях, чаще становился на сторону командующих. Эти четырнадцать или пятнадцать человек были его непосредственные подчиненные как Верховного главнокомандующего.

Это было нечто новое в сфере его деятельности и самое важное на этот период. А членами военных советов могли быть те или другие люди, они могли быть взяты из других сфер деятельности и присланы сюда, могли быть забраны отсюда в другие сферы деятельности. Это для Сталина было дело второе. Члены Военного совета были люди, работавшие в одной из сфер политической деятельности. Важной, но все-таки лишь одной из сфер, и он с ними считался, конечно, гораздо меньше, чем с командующими фронтами, которые работали в этот период в главной сфере деятельности и казались ему в гораздо большей мере незаменимыми, чем состоявшие при них политические работники.

Конечно, когда членами военных советов были члены Политбюро, такие, как Булганин, Хрущев, Каганович, Жданов, это давало им дополнительный авторитет на фронте в силу их политического положения, но в то же время Сталин с большой простотой и без колебаний заменял их тогда, когда это казалось ему необходимым, другими членами военных советов, просто корпусными комиссарами, старыми армейскими политработниками, которые, по его мнению, могли бы не хуже их исполнять ту конкретную военно-политическую работу, которая связана с положением члена Военного совета.

Тут были оттенки, но не было кардинальной разницы, и когда надо было переменить положение в Ленинграде и постараться его спасти, то Сталин заменил не Жданова на другого члена Военного совета, а командующего фронтом Ворошилова на другого командующего фронтом Жукова.

То же самое в большинстве случаев происходило и в другие критические минуты. Меняли командующих фронтами, потому что считалось, что дело в первую очередь зависит от них. А члены Военного совета сплошь и рядом оставались.

А вот в тех случаях, когда возникал конфликт между командующим фронтом и членом Военного совета, то, как правило,

с фронта вынужден был уезжать член Военного совета, оставался командующий. Обычно Сталин принимал именно такое решение, за редким исключением.

Военные — это было его ведомство, его личное ведомство, и он во время войны не давал их в обиду, умел заставить их уважать, склонен был принимать меры для того, чтобы поднять их значение, роль, авторитет и все, что с этим было связано.

О донесениях и сообщениях о некоторых завивах в мозгах у того или иного командующего фронтом или командарма, о том, что мало считается со своим членом Военного совета, — знал, но относился спокойно. «Пока пусть. Придет время, в два счета укоротим».

В противоположность некоторым командующим фронтами он вовсе не думал, что они и после войны останутся или должны остаться в сознании общества фигурами того ранга, которыми их сделала война. Он достаточно сознавал полноту и силу своей власти для того, чтобы, когда понадобится, поставить их на место не только в смысле практическом, но и в смысле даже изменения их места в сознании общества. Он считал, что и это вполне в его власти и возможностях.

Когда была переведена отчаянная радиограмма из Праги во время восстания, в которой открытым текстом передавался призыв ко всем, всем, всем прийти на помощь, и когда состоялся разговор со Сталиным по этому поводу, Сталин сказал по ВЧ недовольным тоном: «Какое там восстание! Какое восстание! Какие-то два дурачка перепугались, заключили соглашение, дали себя обмануть буржуазии». Этот разговор происходил в первые же часы после получения первых радиограмм из Праги. Как впоследствии выяснилось, он был хорошо информирован из каких-то других источников и имел в виду то, что двое коммунистов, вошедших в руководящий комитет Пражского восстания, присоединились к тому решению, согласно которому предполагалось в целях спасения Праги беспрепятственно пропустить через нее войска Шернера.

Кто-то, не помню уже сейчас кто, рассказывал мне о Потсдамской конференции и о том случае, который имел там якобы место. К этому времени труп Гитлера был найден, опознан и где-то хранился в том первоначальном виде, в каком его нашли. Кто-то, видимо Берия, или, может быть, Серов, доложив об этом Сталину, предложил не то привезти показать труп, не то поехать посмотреть. Сталин сказал: «Хорошо, завтра утром поеду посмотрю». Потом, когда утром к нему пришли с тем, что нужно ехать, он махнул

рукой и сказал: «Не поеду. Пусть Молотов и Берия едут смотрят. Я не поеду».

...В одном из разговоров с И. С. Коневым мне приоткрылись некоторые черты быта Сталина. Видимо, их тоже стоит записать.

Квартира Сталина в Кремле, недалеко от Свердловского зала, была небольшая, кажется, три комнаты и кухня. Большая комната была одновременно и столовой и кабинетом. Во всяком случае, в углу ее стоял письменный стол, на котором лежало много книг и журналов. Некоторые — с закладками. Было ощущение, что Сталин много читал.

Обеденный стол занимал большую часть комнаты. Стол был длинный, но не грандиозный. Очевидно, за ним могли усестись человек пятнадцать-шестнадцать, может быть, немного больше.

Обслуживала Сталина на квартире одна женщина — русская, немолодая — Матрена Ивановна, простая, но очень опытная, вышколенная, в белой косыночке на голове. Очень аккуратная, чистюля.

На столе обычно бывали перцовка, коньяк и всякие вина грузинские, привезенные оттуда, с наклейками, напечатанными на пишущей машинке. Сталин хорошо разбирался в винах и любил говорить о них со знанием дела: какое вино, какими качествами отличается, какое количество его производится, из какой деревни, чем обуславливаются его особенности.

Сталин очень любил напаявать тех, кто пришел к нему в гости, а сам пил мало, во всяком случае, на людях. Пил из небольшой рюмки и обычно только вино. Иногда, как сказал мой собеседник, он пил из этой небольшой рюмки, поставив ее в большой бокал, так, чтобы внешне выглядело, что он поднимает большую посуду в руке. Но я не уяснил себе, как это практически могло быть.

Если остальные собеседники были свои, московские, а гость — приезжий, из округа или с фронта, то он сажал гостя неизменно с правой стороны от себя и оказывал ему по ходу ужина наибольшее внимание. Не любил, когда отказывались пить, но если ссылались на здоровье и если он этому верил, знал, что это действительно так, — хотя и морщился, но проявлял известную терпимость, заставлял выпить рюмку перцовки, а потом не настаивал. Угощая перцовкой, любил шутить. Если там присутствовал Ворошилов, говорил: «Вот смотрите, какой цвет лица у Ворошилова. Это потому, что он пьет перцовку, поэтому такой здоровый». Тех, кто поддавался на это, он напаявал. Напаявал и своих ближайших

соратников. Видимо, это уже вошло у него в привычку и было частью программы, включавшей для него элемент развлечения.

А может быть, — это я уж добавлю от себя — и элемент издевки над людьми, элемент самоощущения своей власти, что он мог сделать с людьми все, мог даже напоить их, невзирая на их возражения.

Принимая кого-то из приезжающих военных на даче — иногда это было на даче, — он после разговора к обеду или к ужину вызывал членов Политбюро, тех или иных, передавая это через Власика, начальника охраны своей, и предполагалось, что все быстро и беспрекословно явятся. Так было заведено.

И, очевидно, не являться (это добавляю от себя) было опасно. Почему не явился? Это выглядело бы как эксцесс, как нечто странное и неожиданное. Думаю, странным и неожиданным выглядел бы ответ, что я занят теми или другими делами. Как так занят другими делами, когда Сталин не занят делами! Допускаю, что какое-то исключение в этом смысле могло делаться только для Молотова в том случае, если он именно в этот момент был занят с иностранцами.

После обеда иногда играли в городки. Сталин сам неплохо играл в городки, кидал как-то странно, тычком, но ловко, выбивая фигуры. Видимо привычно и здорово играли в городки Молотов, Маленков и Каганович. Однажды состоялся матч в городки, на котором с одной стороны играли маршалы, а с другой — гражданские. Так это и было предложено Сталиным. Сам он играл на стороне маршалов. Непривычные, вернее, отвыкшие от игры в городки маршалы играли хуже натренированных гражданских. Сталин был недоволен этим, так как один при всем своем умении не мог выручить свою команду.

На бильярде он играл неплохо, тихими точными ударами, никогда не бил сильно, тщательно целился. Однажды он играл вдвоем с одним из моих собеседников против Берии и Маленкова. Те оба сильно играли на бильярде. Сталин взял в компанию моего собеседника, потому что считал, что тот хорошо играет. Но тот играл посредственно, и они, несмотря на все старания Сталина, чем дальше, тем все безнадежнее проигрывали. Сталин злился, в конце концов бросил кий и прервал игру, перед этим выругав соперников, сказав моему собеседнику: «Ну, где нам с ними играть? Смотрите, какие они бандиты. Это же бандиты. Вы посмотрите на них, какие они». За этими словами слышался еще и призыв по-

смотреть на то, какие они здоровые, толстые бугаи. В этом смысле мне было рассказано, так и понял.

На мои вопросы по поводу того, не пил ли Сталин сам, следовал один и тот же решительный ответ: нет, он никогда, на памяти моего собеседника, и этого, и других, с кем я до сих пор говорил, пьян не бывал. Любил напоить, но сам пьян не бывал.

Одна любопытная подробность. Уже после войны однажды он, будучи еще, кажется, министром обороны, — Булганин был его первым заместителем, — вызвал несколько военных, шли деловые разговоры, потом встал вопрос об отпуске.

— Как ваше здоровье?

— Здоровье так себе, товарищ Сталин.

— В отпуск идете?

— Да, иду.

— На сколько?

— На полтора месяца.

— Это что, Булганин вам полтора месяца дает?

— Да, больше не положено, товарищ Сталин.

— Как так не положено? Обращается к Булганину:

— Дайте ему три месяца. И ему три месяца, и ему три месяца, и ему три месяца. Надо понимать, что люди вынесли на своих плечах. Какая была тяжесть, как устали. Надо понимать, как устали люди. Что такое полтора месяца? Надо три месяца, чтобы почувствовали, привели себя в порядок, отдохнули, полечились. Как так не понимать? Не понимает этого Булганин, не понимает. Не понимаю, как может не понимать. Нет, не понимает. Что он понимает? Ничего он не понимает.

Примерно такой разговор, за которым, мне кажется, стояла привычка показать себя, обойтись гуманно, широко, — используя свою безграничную власть, конечно, при этом, — понимающе подойти к людям, сделать то, что им другой не сделает, и при этом обрушиться на одного из своих ближайших помощников, который, конечно, в этом смысле безответен, потому что он сам не может дать три месяца отпуска и обратиться к Сталину, возможно, не может по этому вопросу, потому что Сталин не хочет, чтобы он обратился к нему по этому вопросу, а хочет, чтобы к нему никто не обратился, чтобы он сам, Сталин, сделал это своей властью, своей добротой, своей широтой, вопреки этим бюрократам, этим догматикам, этим мелким, маленьким людям, которые не соображают, сколько надо дать отпуска военному человеку, который так устал на войне, столько сделал.

И, конечно, люди, окружавшие Сталина, хорошо знали эту его повадку и беспрекословно сносили этот момент игры, который был понятен для них и в котором им отводилась роль мальчика для битья по тому или иному поводу. Это была как бы игра, разумеется, придуманная Сталиным, но в то же время от повторения уже казавшаяся заранее условленной между ним и окружавшими его людьми, но производившая сильное впечатление на людей, которые впервые попадали или редко бывали и которых непосредственно касалось это неожиданное внимание, проявленное к ним Сталиным, — вот эта его так называемая забота о человеке. Но в данном случае эта забота о человеке не помешала через два-три года человека, которому с такой широтой давали три месяца отпуска, без всяких причин снять с поста и загнать куда-то в округ.

Перед войной Сталин предоставлял вести Военный совет Ворошилову, тот сидел за председательским столом, а Сталин за крайним столиком в овальном зале справа. Когда оратор выходил на трибуну и докладывал, Сталин, задавая ему вопросы, подходил вплотную и задавал вопросы лицом к лицу, стоя перед этой трибункой.

Характерный, хотя и малозначительный, может быть, диалог:

— Так вы в Монголии запрещаете пить нашим командирам?

— Запрещаю, товарищ Сталин.

— Может быть, не рекомендуете, скажем так.

— Не рекомендую, товарищ Сталин.

— Ну, это другое дело.

Допускаю, что терпимость Сталина к пьющим людям связана с его национальностью, с его грузинскими повадками. И она, эта терпимость, могла рождать мысль о том, что он сам пьет, в то время когда сам он не пил много.

<...>

Перед тем как Жукова первый раз снимали, было заседание Главного военного совета с участием всех маршалов. На нем выступал Сталин. Сталин очень резко говорил о Жукове. Говорил, что он неправильно ведет себя, что у него есть высказывания против правительства, что он преувеличивает свою роль в войне, делает вид, что все победы связаны с ним, дает интервью в иностранную печать.

— Вы читали, что там пишут? — спрашивал Сталин.

Мы, конечно, не читали, что там пишут. В общем, обвинения были самые грозные. И самое грозное сводилось к тому, что Жукову было брошено обвинение, что он плохо отзывался о прави-

тельстве. Смысл этого обвинения состоял в том, что он выступает, можно сказать, против правительства.

В речи Сталина приводились, в частности, показания в это время арестованного и сидевшего Новикова. После Сталина выступали Берия, Каганович. Они подбавляли жару, говорили то же самое, развивали его мысли.

Жуков сидел потрясенный всем этим, бледный. Потом Сталин обратился к нам:

— Ну, а вы что скажете?

Я попросил слова. Обстановка для выступления после того, что говорил Сталин, была тяжелой. Но я все же сказал, что, конечно, у Жукова есть ошибки и были ошибки, что с ним трудно работать, что он бывает резок, нетерпим, самолюбив. Но что я считаю — я глубоко в этом убежден, — что Жуков честный человек, то, что там написано про то, что он якобы говорил про правительство, это неправда. Он предан правительству, предан стране. Человек, который не был бы предан стране, не стал бы ползать под огнем на войне, рискуя жизнью, выполняя ваши указания, — это я обратился к Сталину. И в заключение еще раз повторил, что глубоко верю в честность Жукова.

После меня выступал Павел Семенович Рыбалко. Он вообще человек решительный, твердый, и он сказал о Жукове, тоже критикуя его за недостатки, в целом положительно, подчеркнув его честность и преданность Родине. Затем выступил Соколовский. Соколовский говорил несколько более уклончиво, но в общем, надо отдать ему должное, тоже в целом сказал в защиту Жукова.

Потом выступал Рокоссовский. Говорил витиевато. Мне почувствовалась в его словах обида на то, что в свое время Жуков сдвинул, заменил его на 1-м Белорусском фронте и ему пришлось перейти на второстепенный — 2-й Белорусский фронт. Хотя, конечно, с точки зрения масштабов командующих фронтами это, на мой взгляд, величины несоизмеримые, и сделано это было правильно.

Выступали и другие. Потом снова взял слово Сталин.

Да, когда я выступил, он в конце бросил мне реплику:

— Вот вы говорите тут. А вы знаете, что Жуков пытался присваивать себе вашу победу под Корсунь-Шевченковским? Говорил, что это результат его деятельности.

Я на это ответил, что я этого не знаю, не слышал и что вопрос этот для меня несомненный. И кто бы что ни говорил на эту тему — тут история разберется. На этом сел.

Вот после всех выступлений выступал Сталин. Он опять говорил резко, но уже несколько по-другому. Видимо, поначалу у него был план ареста Жукова после этого Военного совета. Но, почувствовав наше внутреннее, да и не только внутреннее, сопротивление, почувствовав известную солидарность военных по отношению к Жукову и оценке его деятельности, он, видимо, сориентировался и отступил от первоначального намерения. Так мне показалось.

В итоге Жуков был снят со своего поста и назначен командующим Одесским военным округом.

Так проходил этот Военный совет. Он должен много дать для понимания всей последующей обстановки в армии, многих личных отношений, сложившихся впоследствии. Историкам, которые этим будут заниматься, надо найти и прочесть протокол этого Военного совета⁵.

<...>

Беседы с Адмиралом флота Советского Союза И. С. Исаковым

<...> По-моему, это было вскоре после убийства Кирова. Я в то время состоял в одной из комиссий, связанных с крупным военным строительством. Заседания этой комиссии происходили регулярно каждую неделю — иногда в кабинете, у Сталина, иногда в других местах. После таких заседаний бывали иногда ужины в довольно узком кругу или смотрели кино, тоже в довольно узком кругу. Смотрели и одновременно выпивали и закусывали.

В тот раз, о котором я хочу рассказать, ужин происходил в одной из нижних комнат: довольно узкий зал, сравнительно небольшой, заставленный со всех сторон книжными шкафами. А к этому залу от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли часовые — не часовые, а дежурные офицеры НКВД. Помню, после заседания пришли мы в этот зал, и, еще не сядя за стол, Сталин вдруг сказал: «Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо. Вот так идешь мимо них по коридору и думаешь...» Я, как и все, слушал это в молчании. Тогда этот случай меня потряс. Сейчас, спустя много лет, он мне кое-что, пожалуй, объясняет в жизни и поведении Сталина.

Второй случай.

Я вернулся из поездки на Север. Там строили один военный объект, крупное предприятие. А дорога к этому объекту никуда не годилась. Сначала там через болото провели шоссе, которое было, как подушка, и все шевелилось, когда проезжали машины, а потом, чтобы ускорить дело, не закончив строительство железной дороги, просто положили на это шоссе сверху железнодорожное полотно. Часть пути приходилось ехать на машинах, часть на дрезилах или на железнодорожном составе, который состоял всего из двух грузовых вагонов. В общем ерунда, так дело не делается.

Я был в составе комиссии, в которую входили представители разных ведомств. Руководитель комиссии не имел касательства к Наркомату путей сообщения, поэтому не был заинтересован в дороге. Несмотря на мои возражения, докладывая Сталину, он сказал, что все хорошо, все в порядке, и формально был прав, потому что по линии объекта, находившегося непосредственно в его подчинении, все действительно было в порядке, а о дороге он даже не заикнулся. Тогда я попросил слова и, горячась, сказал об этой железнодорожной ветке, о том, что это не лезет ни в какие ворота, что так мы предприятия не построим и что вообще эта накладка железнодорожных путей на шоссе, причем единственное, — не что иное, как вредительство. Тогда «вредительство» относилось к терминологии, можно сказать, модной, бывшей в ходу, и я употребил именно это выражение.

Сталин дослушал до конца, потом сказал спокойно: «Вы довольно убедительно, товарищ (он назвал мою фамилию), проанализировали состояние дела. Действительно, объективно говоря, эта дорога в таком виде, в каком она сейчас есть, не что иное, как вредительство. Но прежде всего тут надо выяснить, кто вредитель? Я — вредитель. Я дал указание построить эту дорогу. Доложили мне, что другого выхода нет, что это ускорит темпы, подробностей не доложили, доложили в общих чертах. Я согласился для ускорения темпов. Так что вредитель в данном случае я. Восстановим истину. А теперь давайте принимать решение, как быть в дальнейшем».

Это был один из многих случаев, когда он демонстрировал и чувство юмора, в высшей степени ему свойственное, очень своеобразного юмора, и, в общем-то, способность сказать о своей ошибке или заблуждении, сказать самому.

Третий случай.

Стоял вопрос о строительстве крупных кораблей. Был спроектирован линкор⁶, по всем основным данным первоклассный в то время. Предполагалось, что это будут наиболее мощные линкоры в мире. В то же время на этом линкоре было запроектировано всего шесть крупнокалиберных зенитных орудий. Происходило заседание в Совете Труда и Обороне под председательством Сталина. Докладывала комиссия. Ну, доложили. Я был не согласен и долго до этого боролся на разных этапах, но сломить упорство моих коллег по комиссии не мог. Пришлось говорить здесь. Я сказал, что на английских линкорах менее мощного типа ставятся не менее двенадцати зенитных орудий, а если мы, не учитывая развитие авиации, ее перспективы, поставим на наши новые линкоры такое малое количество крупнокалиберных орудий, то этим самым мы обречем их на то, что их потопит авиация, и миллиарды пустим на ветер. Лучше затратить большие деньги, но переделать проект. Я понимал, что переделка будет основательная, потому что это не просто — поставить орудия, увеличение количества орудий связано с целым рядом конструктивных изменений, с установкой целых новых отсеков, с изменением сочетаний всех основных показателей корабля. В общем, это большая неприятность для проектировщиков. Но тем не менее я не видел другого выхода. Со мной стали спорить, я тоже спорил и, горячась, спорил. Последний гвоздь в мой гроб забил Ворошилов, сказавший: «Что он хочет? На ростовском мосту, на котором сидит весь Кавказ и все Закавказье, все коммуникации, — на нем у нас стоят восемь зенитных орудий. А на один линкор ему мало шести!»

Это всем показалось очень убедительным, хотя на самом деле ничего убедительного в этом не было. На мосту стояло мало зенитной артиллерии, на мосту, к которому подвешены целые фронты, должно было стоять гораздо больше артиллерии. Да и вообще это не имело никакого отношения к линкорам. Но внешне это было убедительно, и дело уже шло к тому, чтобы утвердить проект.

Я был подавлен, отошел в сторону, сел на стул. Сел и сажу, мысли мои ушли куда-то, как это иногда бывает, совершенно далеко. Я понял, что здесь я не проломлю стенки, и под общий гул голосов заканчивавшегося заседания думал о чем-то другом, не помню сейчас о чем... И вдруг, как иногда человека выводит из состояния задумчивости шум, так меня вывела внезапно установившаяся тишина. Я поднял глаза и увидел, что передо мной стоит Сталин.

— Зачем товарищ Исаков такой грустный? А?

Тишина установилась двойная. Во-первых, оттого, что он подошел ко мне, во-вторых, оттого, что он заговорил.

— Интересно, — повторил он, — почему товарищ Исаков такой грустный?

Я встал и сказал:

— Товарищ Сталин, я высказал свою точку зрения, ее не приняли, а я ее по-прежнему считаю правильной.

— Так, — сказал он и отошел к столу. — Значит, утверждаем в основном проект?

Все хором сказали, что утверждаем. Тогда он сказал:

— И внесем туда одно дополнение: «с учетом установки дополнительно еще четырех зенитных орудий того же калибра». Это вас будет устраивать, товарищ Исаков?

Меня это не вполне устраивало, но я уже понял, что это максимум того, на что можно рассчитывать, что все равно ничего большего никогда и нигде мне не удастся добиться, и сказал:

— Да, конечно, спасибо, товарищ Сталин.

— Значит, так и запишем, — заключил он заседание.

Еще одно воспоминание... Или нет, сначала вообще о том, как он вел заседания.

Надо сказать, что он вел заседания по принципу классических военных советов. Очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался дать слово примерно в порядке старшинства, так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, отметя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводил итоги. Так было в тех случаях, когда он не становился на совершенно определенную точку зрения с самого начала. Ну, речь идет в данном случае, разумеется, о вопросах военных, технических и военных, а не общеполитических. На них я, к сожалению, не присутствовал.

Когда же у него было ощущение предварительное, что вопрос в генеральном направлении нужно решить таким, а не иным образом, — это называлось «подготовить вопрос», так, кстати, и до сих пор называется, — он вызывал двух-трех человек и рекомендовал им выступить в определенном направлении. И людям, которые уже не по первому разу присутствовали на таких заседаниях, было по выступлениям этих людей ясно, куда клонится дело. Но и при таких обсуждениях, тем не менее, он не торопился, не обрывал и не мешал высказать иные точки зрения, которые иногда

какими-то своими частностями, сторонами попадали в орбиту его зрения и входили в последующие его резюме и выработанные на их основе резолюции, то есть учитывались тоже, несмотря на предрешённость, — в какой-то мере, конечно.

И еще одна история.

Это было тоже в середине тридцатых годов. Не помню, кажется, это было после парада 1 Мая, когда принимались участники парада. Ну, это так называется «участники парада», это были не командиры дивизий и полков, прошедших на параде, а верхушка командования. Не помню уже точно, в каком году это было, но помню, что в этот раз зашла речь о скорейшем развертывании строительства Тихоокеанского флота, а я по своей специальности был в какой-то мере причастен к этим проблемам. Был ужин. За ужином во главе стола сидел Сталин и рядом с ним сидел Жданов. Жданов вел стол, а Сталин ему довольно явственно подсказывал, за кого и когда пить и о ком (в известной мере даже что) говорить.

Уже довольно много выпили. А я, хотя вообще умею хорошо пить и никогда пьян не бываю, на этот раз вдруг почему-то очень крепко выпил. И понимая, что очень крепко выпил, всю энергию употреблял на то, чтобы держаться, чтобы со стороны не было заметно.

Однако когда Сталин, вернее, Жданов по подсказке Сталина и притом в обход моего прямого начальства, сидевшего рядом со мной, за которого еще не пили, поднял тост за меня, я в ответ встал и тоже выпил. Все уже стали вставать из-за столов, все смешалось, и я подошел к Сталину. Меня просто потянуло к нему, я подошел к нему и сказал:

— Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это все не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому.

И взял его под руку и повел к громадной карте, которая висела как раз напротив того места, где я сидел за столом. Видимо, эта карта Дальневосточного театра и навела меня на эту пьяную мысль: именно сейчас же доказать Сталину необходимость решения некоторых проблем, связанных со строительством Тихоокеанского флота. Я подвел его к карте и стал ему показывать, в какую мышеловку попадает наш флот из-за того, что мы не вернем Сахалин. Я ему сказал:

— Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке, большой флот строить невозможно и бессмысленно. Пока мы не возвратим

этот Южный Сахалин, до тех пор у нас все равно не будет выхода в океан.

Он выслушал меня довольно спокойно, а потом сказал:

— Подождите, будет вам Южный Сахалин!

Но я это воспринял как шутку и снова стал убеждать его с пьяным упорством, что флот наш будет в ловушке на Дальнем Востоке, что нам нужно обязательно, чтобы у нас был Южный Сахалин, что без этого нет смысла строить там большой флот.

— Да я же говорю вам: будет у нас Южный Сахалин! — повторил он уже немного сердито, но в то же время усмехаясь.

Я стал говорить что-то еще, тогда он подозвал людей, да, собственно, их и звать не надо было, все столпились вокруг нас, и сказал:

— Вот, понимаете, требует от меня Исаков, чтобы мы обладали Южным Сахалином. Я ему отвечаю, что будем обладать, а он не верит мне...

Этот разговор вспомнился мне потом, в сорок пятом году. Тогда он мне вспомнился, не мог не вспомниться.

Еще одно воспоминание.

Сталин в гневе был страшен, вернее, опасен, трудно было на него смотреть в это время и трудно было присутствовать при таких сценах. Я присутствовал при нескольких таких сильных вспышках гнева, но все происходило не так, как можно себе представить, не зная этого.

Вот одна из таких вспышек гнева, как это выглядело.

Но прежде чем говорить о том, как это выглядело в этом конкретном случае, хочу сказать вообще о том, с чем у меня связываются воспоминания об этих вспышках гнева. В прусском уставе еще бог весть с каких времен, чуть ли не с Фридриха, в уставе, действующем и сейчас в германской армии, в обоих — восточной и западной, между прочим, есть такое правило: назначать меры дисциплинарного взыскания нельзя в тот день, когда совершен проступок. А надо сделать это не ранее, чем на следующий день. То есть можно сказать, что вы за это будете отправлены на гауптвахту, но на сколько суток — на пять, на десять, на двадцать, — этого сказать сразу нельзя, не положено. Это можно определить на следующий день. Для чего это делается? Для повышения авторитета командира, для того, чтобы он имел время обдумать свое решение, чтобы не принял его сгоряча, чтобы не вышло так, что он назначит слишком слабое или слишком сильное наказание,

не выяснив всего и не обдумав на холодную голову. В результате всем будет ясно, что это неверное приказание, а отменить он уже не сможет, потому что оно, это взыскание, будет уже наложено. Вот это первое, что вспоминается мне, когда я думаю о гневе Сталина. У него было — во всяком случае в те времена, о которых я вспоминаю, — такое обыкновение — задержать немного решение, которое он собирался принять в гневе.

Второе, вторая ассоциация. Видели ли вы, как в зоологическом парке тигры играют с тигрятами? Это очень интересное зрелище. Он лежит ленивый, большой, величественный, а тигренок к нему лезет, лезет, лезет. Тормошит его, кусает, надоедает... Потом вдруг тигр заносит лапу и ударяет его, но в самую последнюю секунду задерживает удар, девять десятых удара придерживает и ударяет только одной десятой всей своей силы. Удерживает, помня всю мощь этой лапы и понимая, что если ударить всей силой, то он сломает хребет, убьет...

Эта ассоциация тоже у меня возникла в связи с теми моими воспоминаниями, о которых я говорю.

Вот одно из них. Это происходило на Военном совете, незадолго до войны, совсем незадолго, перед самой войной. Речь шла об аварийности в авиации⁷, аварийность была большая. Сталин по своей привычке, как обычно на таких заседаниях, курил трубку и ходил вдоль стола, приглядываясь к присутствующим, иногда глядя в глаза, иногда в спины.

Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока не дошла очередь до командовавшего тогда Военно-воздушными силами Рычагова. Он был, кажется, генерал-лейтенантом, вообще был молод, а уж выглядел совершенным мальчишкой по внешности. И вот когда до него дошла очередь, он вдруг говорит:

— Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах.

Это было совершенно неожиданно, он покраснел, сорвался, наступила абсолютная гробовая тишина. Стоял только Рычагов, еще не отошедший после своего выкрика, багровый и взволнованный, и в нескольких шагах от него стоял Сталин. Вообще-то он ходил, но когда Рычагов сказал это, Сталин остановился.

Скажу свое мнение. Говорить это в такой форме на Военном совете не следовало. Сталин много усилий отдавал авиации, много ею занимался и разбирался в связанных с нею вопросах довольно основательно, во всяком случае, куда более основательно, чем боль-

шинство людей, возглавлявших в то время Наркомат обороны. Он гораздо лучше знал авиацию. Несомненно, эта реплика Рычагова в такой форме прозвучала для него личным оскорблением, и это все понимали.

Сталин остановился и молчал. Все ждали, что будет.

Он постоял, потом пошел мимо стола, в том же направлении, в каком и шел. Дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату назад в полной тишине, снова повернулся и, вынув трубку из рта, сказал медленно и тихо, не повышая голоса:

— Вы не должны были так сказать!

И пошел опять. Опять дошел до конца, повернулся снова, прошел всю комнату, опять повернулся и остановился почти на том же самом месте, что и в первый раз, снова сказал тем же низким спокойным голосом:

— Вы не должны были так сказать, — и, сделав крошечную паузу, добавил — Заседание закрывается.

И первым вышел из комнаты.

Все стали собирать свои папки, портфели, ушли, ожидая, что будет дальше.

Ни завтра, ни послезавтра, ни через два дня, ни через три ничего не было. А через неделю Рычагов был арестован и исчез навсегда.

Вот так это происходило. Вот так выглядела вспышка гнева у Сталина.

Когда я сказал, что видел Сталина во гневе только несколько раз, надо учесть, что он умел прятать свои чувства, и умел это очень хорошо. Для этого у него были давно выработанные навыки. Он ходил, отворачивался, смотрел в пол, курил трубку, возился с ней... Все это были средства для того, чтобы сдерживать себя, не проявить своих чувств, не выдать их. И это надо было знать для того, чтобы учитывать, что значит в те или иные минуты это его мнимое спокойствие.

<...>

Бывший командующий фронтом Рокоссовский рассказал мне, как он случайно оказался свидетелем последнего разговора Сталина с Козловым, уже смещенным с должности командующего Крымским фронтом после Керченской катастрофы⁸.

Рокоссовский получил новое назначение, кажется, шел с армии на фронт. Это было в конце мая или в июне 1942 года. В самом конце разговора у Сталина на эту тему, когда Рокоссовский уже собирался попрощаться, вошел Поскребышев и сказал, что

прибыл и ждет приема Козлов. Сталин сначала было простился с Рокоссовским, а потом вдруг задержал его и сказал:

— Подождите немного, тут у меня будет один разговор, интересный, может быть, для вас. Побудьте.

И, обращаясь к Поскребышеву, приказал вызвать Козлова. Козлов вошел, и хотя это было вскоре после Керченской катастрофы, все это было еще очень свежо в памяти, Сталин встретил его совершенно спокойно, ничем не показал ни гнева, ни неприязни. Поздоровался за руку и сказал:

— Слушаю вас. Вы просили, чтобы я вас принял. Какие у вас ко мне вопросы?

Козлов, который сам попросился на прием к Сталину после того как был издан приказ о смещении его с должности командующего Крымским фронтом и о снижении в звании, стал говорить о том, что он считает, что это несправедливо по отношению к нему, что он делал все, что мог, чтобы овладеть положением, приложил все силы. Говорил он все это в очень взвинченном, истерическом тоне.

Сталин спокойно выслушал его, не перебивая. Слушал долго. Потом спросил:

— У вас все?

— Да.

— Вот видите, вы хотели сделать все, что могли, но не смогли сделать того, что были должны сделать.

В ответ на эти слова, сказанные очень спокойно, Козлов стал говорить о Мехлисе, что Мехлис не давал ему делать то, что он считал нужным, вмешивался, давил на него, и он не имел возможности командовать из-за Мехлиса так, как считал необходимым.

Сталин спокойно остановил его и спросил:

— Подождите, товарищ Козлов! Скажите, кто был у вас командующим фронтом, вы или Мехлис?

— Я.

— Значит, вы командовали фронтом?

— Да.

— Ваши приказания обязаны были выполнять все на фронте?

— Да, но...

— Вы как командующий отвечали за ход операции?

— Да, но...

— Подождите. Мехлис не был командующим фронтом?

— Не был...

— Значит, вы командующий фронтом, а Мехлис не командующий фронтом? Значит, вы должны были командовать, а не Мехлис, да?

— Да, но...

— Подождите. Вы командующий фронтом?

— Я, но он мне не давал командовать.

— Почему же вы не позвонили и не сообщили?

— Я хотел позвонить, но не имел возможности.

— Почему?

— Со мною все время находился Мехлис, и я не мог позвонить без него. Мне пришлось бы звонить в его присутствии.

— Хорошо. Почему же вы не могли позвонить в его присутствии?

Молчит.

— Почему, если вы считали, что правы вы, а не он, почему же не могли позвонить в его присутствии? Очевидно, вы, товарищ Козлов, боялись Мехлиса больше, чем немцев?

— Вы не знаете Мехлиса, товарищ Сталин, — воскликнул Козлов.

— Ну, это, положим, неверно, товарищ Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. А теперь хочу вас спросить: почему вы жалуетесь? Вы командовали фронтом, вы отвечали за действия фронта, с вас за это спрашивается, вы за это смещены. Я считаю, что все правильно сделано с вами, товарищ Козлов.

Потом, когда Козлов ушел, он повернулся к Рокоссовскому и, прощаясь с ним, сказал:

— Вот какой интересный разговор, товарищ Рокоссовский.

После этого Исаков рассказал мне о том, как он был дважды поздней осенью, вернее, зимой сорок первого года у Сталина в его подземном кабинете в Кремле — и оба раза мой собеседник был там во время воздушных тревог, в часы, когда Сталин спускался туда.

Любопытная подробность, что из себя представлял этот кабинет: ход туда был обыкновенный, забетонированный, со всеми полагающимися в таких случаях устройствами, но когда вы из тамбура входили в самый кабинет, то вы как бы оказывались не внизу, а наверху. Это был точно такой же кабинет, как кабинет Сталина в ЦК. Такие же высокие дубовые панели, такой же стол, стулья, такой же письменный стол, те же портреты Ленина и Маркса на стене, и даже гардины висели такие же самые, закрывая несуществующие окна. Только (это даже не сразу бросалось в глаза) площадь кабинета была раза в два меньше того, верхнего.

Одна из встреч в этом кабинете была очень короткой. Это было через несколько дней после начала войны между Японией и Америкой. Сталин поздоровался с Исаковым, пожал ему руку и сказал:

— Поезжайте на Дальний Восток. Посмотрите, как там обстоят дела, чтобы японцы не устроили нам тоже Пирл-Харбор. Ясна вам задача?

— Ясна.

— Поезжайте.

Вот и весь разговор. Задача была действительно ясна.

На этом свидании присутствовал и Апанасенко, в то время командующий Дальневосточным фронтом. Он просил танков, указывая, что у японцев в составе Квантунской армии большие танковые силы, а у нас на Дальнем Востоке совершенно нет новых Т-34. Апанасенко говорил об этом в нервном тоне и просил дать ему много танков, чуть ли не корпус.

Сталин сказал:

— Нет, мы не можем дать вам танки. Он еще не воюет, а хочет танков! Танки нам здесь нужны, где мы воюем: нам их и здесь не хватает.

Потом обратился, как помнится Исакову, к Шапошникову и сказал:

— Нам танки надо будет дать все-таки товарищу Апанасенко, чтобы они знали, что такое «тридцатьчетверки», чтобы обучались ими владеть, чтобы можно было пропустить часть людей через эти танки.

С тем Апанасенко и уехал.

Второй раз мой собеседник был в этом подземном кабинете уже в конце зимы сорок первого — сорок второго года, после возвращения с Дальнего Востока. Сначала докладывал, а потом присутствовал при докладе Щаденко, ведавшего тогда вопросами формирования.

Щаденко докладывал о сложности пополнения частей обученными кадрами. Сложности эти, уже обнаружившиеся к тому времени, были связаны с тем, что во многих национальных республиках почти не было обученных национальных кадров, прошедших действительную военную службу. В связи с этим Сталин сказал буквально следующее:

— Вы говорите, что некоторые национальные кадры плохо воюют. А что вы хотите?! Те народы, которые десятилетиями откупались от воинской повинности и у которых никогда не было своей военной интеллигенции, все равно не будут хорошо воевать,

не могут хорошо воевать при том положении, которое исторически сложилось⁹.

Рассказывая об этом, мой собеседник перешел к тому впечатлению, которое произвел на него Сталин в эти два посещения.

За две недели до войны я докладывал Сталину по разным текущим вопросам. Это были действительно текущие вопросы и некоторые из них даже не были срочные. Я помню это свидание и абсолютно уверен, что Сталин был тогда совершенно убежден в том, что войны не будет, что немцы на нас не нападут. Он был абсолютно в этом убежден. Когда несколькими днями позднее я докладывал своему прямому начальнику о тех сведениях, которые свидетельствовали о совершенно очевидных симптомах подготовки немцев к войне и близком ее начале, и просил его доложить об этом Сталину, то мой прямой начальник сказал:

— Да говорили ему уже, говорили... Все это он знает. Все знает, думаешь, не знает? Знает. Все знает!

Я несу тоже свою долю ответственности за то, что не перешагнул через это и не предпринял попытки лично доложить Сталину то, что я докладывал своему прямому начальнику. Но, чувствуя на себе бремя этой вины и не снимая ее с себя, должен сказать, что слова эти, что Сталин «все знает», были для меня в сочетании с тем авторитетом, которым пользовался тогда в моих глазах Сталин, убедительными.

Я много раз на протяжении ряда лет своей службы убеждался, что Сталин действительно имел великолепную информацию по разным каналам: по линии партийных и советских органов, по линии НКВД и по линии разведки. Бывало часто так, что мы еще только собирались о чем-то информировать, а он уже знал о случившемся. Например, в случаях крупных авиационных аварий, морских аварий, различных происшествий на крупных объектах в армии. Соответствующее начальство, понимая, что как ни неприятно, но надо об очередной аварии или происшествии доносить, составляло донесения в предварительной форме. Скажем: «Произошла воздушная катастрофа в таком-то районе, причины выясняются и будут доложены». Или: «Произошло столкновение кораблей, создана комиссия. Размеры аварии и количество жертв выясняются».

Писали так, оттягивая время, хотя уже знали, что один из кораблей пошел на дно, другой находится в доке. Погибло при этом 62 человека. Те, кто за это отвечал, склонны были доносить таким

образом, чтобы оттягивать дальнейшее созданием различных комиссий и т. п. Но те, кто не отвечал за это, наоборот, спешили донести Сталину и даже соревновались, кто скорее донесет о случившемся. И он почти всегда имел информацию с какой-то другой стороны, а не с той, которая обязана была донести о случившемся и лежавшей на ней ответственности.

Помню один звонок Сталина, когда мы с моим непосредственным начальником обсуждали, как донести о случившейся аварии, в которой погибло несколько десятков человек, когда Сталин позвонил и спросил:

— Что у вас там произошло?

Мой непосредственный начальник стал говорить, что выясняется, уточняется...

В ответ на это Сталин сказал:

— Вы выясняете — это хорошо. Только не забудьте уточнить: 62 человека погибло или 63?

Таким образом, у меня было чувство, что он действительно знает все, что ему будут докладывать, что я не скажу новости. Я не оправдываюсь этим, так и было, ему, конечно, докладывали, и по многим каналам. Но он имел предвзятое мнение, которое вообще в военном деле самое страшное из всех возможных вещей, — когда у командующего, у человека, стоящего во главе, твердое предвзятое мнение относительно того, как будет действовать противник и как развернутся события. Это одна из самых частых причин самых больших катастроф¹⁰.

Насколько я помню, Сталин был очень потрясен случившимся — таким началом войны. Он категорически не допускал этой возможности. Размеры потрясения были связаны и с масштабом ответственности, а также и с тем, что Сталину, привыкшему к полному повиновению, к абсолютной власти, к отсутствию сопротивления своей воле, вдруг пришлось в первые же дни войны столкнуться с силой, которая в тот момент оказалась сильнее его. Ему была противопоставлена сила, с которой он в тот момент не мог совладать. Это было потрясение огромное, насколько я знаю, он несколько дней находился в состоянии, близком к прострации. Думаю, что с этим связано и то, что не он, а Молотов выступил по радио и говорил о начале войны, хотя естественно было бы ждать такого выступления именно Сталина. И только третьего июля Сталин заговорил и заговорил так, как он никогда не говорил до тех пор, заговорил словами: «Братья и сестры..» В этой

речи я лично чувствовал присутствие глубокого человеческого потрясения у человека, произносившего ее.

Так вот, когда я увидел Сталина в начале декабря сорок первого года, а я его до этого во время войны не видел, — Сталин уже был точно таким, каким он был раньше. Это был прежний, все тот же Сталин. Та же медлительность, то же хождение мягкими шагами, чаще всего сзади стульев, на которых сидят присутствующие, та же ленивая размеренность шагов. Та же тщательно выработанная медлительная манера речи, с короткими абзацами и длинными паузами, тот же низкий, спокойный голос.

Трудно сказать, был ли он сдержан вообще, очевидно, нет. Но личину эту он давно надел на себя, как шкуру, к которой привык до такой степени, что она стала его второй натурой. Это была не просто сдержанность, это была манера, повадка, настолько тщательно разработанная, что она уже не воспринималась как манера. Ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова. Манера, выработанная настолько, что она воспринималась как естественная. Но на самом деле в ней был расчет на то, чтобы не показать никому, что он думает, не дать угадать своих мыслей, не дать никому составить заранее представление о том, что он может сказать и как он может решить. Это с одной стороны. С другой, медлительность, паузы были связаны с желанием не сказать ничего такого, что придется брать обратно, не сказать ничего сгоряча, успеть взвесить каждое свое слово.

Надо, забегая вперед, сказать, что он сохранил эту сдержанность и потом, среди побед и ликований, когда люди вокруг него были возбуждены этими победами. Он был просто несколько веселее, чаще шутил, улыбался, но к этому и сводились, пожалуй, все перемены в его поведении, скажем, в сорок четвертом году по сравнению с сорок первым.

Когда он говорил, он умел превосходно прятать себя и свое мнение. Я уже вам говорил об этом, но хочу повторить: мимика его была чрезвычайно бедной, скупой; он не делал подчеркнуто непроницаемого выражения лица, но лицо его было спокойно. А кроме того, он любил ходить так чтобы присутствующие не видели его лица, и так как он сам выбирал эти моменты, то это тоже помогало ему скрывать свои чувства и мысли. По его лицу невозможно или почти невозможно было угадать направление его мыслей. И в этом был смысл, потому что охотников угадывать его мысли было много, он знал это, знал и меру своего авторитета,

а также и меру того подхалимажа, на который способны люди, старающиеся ему поддакнуть. Поэтому он был осторожен, особенно тогда, когда речь шла о вопросе, который был ему относительно мало знаком, и он хотел узнать в подробностях чужие мнения. Он даже провоцировал столкновения мнений, спрашивал: «А что скажет такой-то?.. А что скажет такой-то?..» Выслушивая людей и выслушивая разные мнения, он, видимо, проверял себя и корректировал. В иных случаях искал опору для своего предвзятого мнения, искал мнения, подтверждающие его правоту, и если находил достаточную опору, то в конце высказывал свое мнение с известными коррективами, родившимися в ходе обсуждения. Иногда, думаю, когда он сталкивался с суждениями, которые опровергали его собственное первоначальное мнение и заставляли изменить его, он сворачивал разговор, откладывая его, давая себе возможность обдумать сложившуюся ситуацию.

Когда он бывал в хорошем настроении или что-либо его смешило, он улыбался. Но улыбался сдержанно, одними уголками рта, и даже и эту скупую улыбку прикрывал рукой и трубкой.

У меня лично вызывает удивление то, что он объявил себя генералиссимусом и стал носить маршальскую форму. Тем более это было странно, что к его полувоенному облику давно привык весь мир, и этот облик, известный всем, вполне вязался с войной. В звании и форме было что-то мелочное, шедшее откуда-то из молодости, с тех времен, когда он был маленьким по общественному положению человеком — наблюдателем тифлисской метеостанции. Как-то странно сочетать положение вождя партии, мира со званием генералиссимуса, с желанием носить маршальскую форму, с брюками, на которых красный лампас — одна из самых одиозных примет царского времени. Мне невольно вспоминается снимок тех ранних лет — знаете, тот, с шеей, замотанной кашне, и по контрасту с этим снимком торчащая из-под стола нога в шевровом, хорошо начищенном ботинке, и брючина с красным лампасом и штрипкой.

Между прочим, он вообще придавал, на мой взгляд, излишнее значение форме¹¹, и люди, которые страшно были увлечены по своей службе изобретением новых мундиров или восстановлением старых русских мундиров, находили какой-то отзвук в нем, одобрение. Помню, как всерьез обсуждался вопрос о введении адъютантских аксельбантов и эполет; помню, как в закрытых машинах везли в Кремль шесть человек, обмундированных

в армейские мундиры с эполетами, и шесть человек, одетых во флотские кители с эполетами... И это было не в конце войны, а в разгар ее.

Но был разговор со Сталиным, который запомнился, потому что очень поднимал его в моих глазах. Это было в 1933 году после проводки первого маленького каравана военных судов через Беломорско-Балтийский канал, из Балтийского моря в Белое. В Полярном, в кают-компании миноносца, глядя в иллюминатор и словно разговаривая с самим собой, Сталин вдруг сказал:

— Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше неоткуда!

Это было сказано в те времена, когда идея создания Большого флота на Севере еще не созрела даже у самых передовых морских деятелей. А после того как он это все сказал, продолжая глядеть в иллюминатор на серый невеселый горизонт, он добавил:

— Надо попробовать в этом году еще караван военных судов перебросить с Балтики. Как, можно это сделать?¹²

И второе, связанное с этим же годом воспоминание. В Сороках, когда прошли Беломорско-Балтийский канал, был небольшой митинг, на котором выступили то ли начальник, то ли заместитель начальника Беломорстроя Рапопорт, начальник ГПУ Ленинграда Медведь и еще кто-то. Стали просить выступить Сталина. Сталин отнекивался, не хотел выступать, потом начал как-то нехотя, себе под нос.

А перед этим, надо сказать, все речи были очень и даже чересчур пламенны, говорили, что мы теперь здесь встали по воле Сталина и отсюда никуда не уйдем, что море наше, что мы завоюем Север, что мы разобьем здесь любого врага, и т. д. И вот после всех этих речей Сталин, как бы нехотя взял слово и сказал:

— Что тут говорили: возьмем, победим, завоюем... Война, война... Это еще неизвестно, когда будет война. Когда будет — тогда будет! Это север!.. — И еще раз повторил: — Это север, его надо знать, надо изучить, освоить, привыкнуть к нему, овладеть им, а потом говорить все остальное.

Мне тоже понравилось это тогда, понравилось серьезное, глубокое отношение к сложному вопросу, с которым мы только еще начинали иметь дело.

Потом в разговоре мой собеседник — это уже не относилось прямо к Сталину — вернулся к Керченской катастрофе и в связи с этим вспомнил Мехлиса.

Я видел Мехлиса, когда нам было приказано эвакуировать то, что еще можно было эвакуировать с Керченского полуострова. Кстати сказать, мы эвакуировали все-таки 121000 человек, и, несмотря на позор нашего поражения и размеры его, об этом тоже нельзя забывать. Нельзя представлять себе дело так, что все там погибли и никто не выжил. Так вот, в эти последние дни, когда мне было приказано участвовать в эвакуации, я видел там, под Керчью, Мехлиса. Он делал вид, что ищет смерти. У него был не то разбит, не то легко ранен лоб, но повязки не было, там была кровавая царапина с кровоподтеками; он был небрит несколько дней. Руки и ноги были в грязи, он, видимо, помогал шоферу вытаскивать машину и после этого не считал нужным привести себя в порядок. Вид был отчаянный. Машина у него тоже была какая-то имевшая совершенно отчаянный вид, и ездил он вдвоем с шофером, без всякой охраны. Несмотря на трагичность положения, было что-то в этом показное, — человек показывает, что он ищет смерти.

В ответ на эти слова Исакова я сказал, что Мехлис, может быть, не только показывал, что ищет смерти, но и действительно искал ее тогда.

— Возможно, — сказал он. — Может быть, и искал. Но при этом показывал, что ищет смерти, подчеркивал и это, и мне было противно от этого, и до сих пор остается противным.

Я сказал, что, по моим наблюдениям, Мехлис храбрый человек.

— Да, если хотите. Он там, под Керчью, лез все время вперед, вперед. Знаю также, что на финском фронте он бывал в боях, ходил в рядах батальона в атаку. Но, во-первых, это ни в чем не оправдывает его — ни в бездарных действиях в финскую войну, ни в керченской катастрофе, за которую на нем лежит главная ответственность. На мой взгляд, он не храбрый, он нервный, взвинченный, фанатичный. Между прочим, я присутствовал у Сталина на обсуждении итогов финской войны, и там был Мехлис, был Тимошенко, был Ворошилов. Мехлис несколько раз вылезал то с комментариями, то с репликой, после чего вдруг Сталин сказал:

— А Мехлис вообще фанатик, его нельзя подпускать к армии.

Я помню, меня тогда удивило, что, несмотря на эти слова, Мехлис продолжал на этом заседании держаться как ни в чем не бывало и еще не раз вылезал со своими репликами.

<...>

*Беседы с маршалом Советского Союза
А. М. Василевским*

<...>

Со Сталиным я впервые встретился во время финской войны — 30 декабря 1939 года.

К Сталину был вызван Борис Михайлович Шапошников, и я как исполняющий в то время обязанности заместителя начальника оперативного управления явился вместе с ним. И с этого времени я бывал и на последующих заседаниях Высшего военного совета.

30 декабря 1939 года Шапошников был вызван к Сталину, вызван из отпуска, и у этого вызова была своя предыстория.

Как началась финская война? Когда переговоры с Финляндией относительно передвижки границ и уступки нам — за соответствующую компенсацию — территории на Карельском перешейке, необходимой для безопасности Ленинграда, окончательно не увенчались успехом, Сталин, созвав Военный совет, поставил вопрос о том, что раз так, то нам придется воевать с Финляндией. Шапошников как начальник Генерального штаба был вызван для обсуждения плана войны. Оперативный план войны с Финляндией, разумеется, существовал, и Шапошников доложил его. Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укрепленных районов. И в соответствии с этим он предполагал сосредоточение больших сил и средств, необходимых для решительного успеха этой операции.

Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы справиться с этой самой... Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.

После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам все это нужно?»

Мерецков ответил:

— Товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.

После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами».

Он таким образом заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией. Более того, сказал Шапошникову тут же, что ему надо отдохнуть, предложил ему дачу в Сочи и отправил его на отдых. Сотрудники Шапошникова были тоже разогнаны кто куда, в разные инспекционные поездки. Меня, например, загнал для чего-то на демаркацию границ с Литвой.

Что произошло дальше — известно. Ленинградский фронт начал войну, не подготовившись к ней, с недостаточными силами и средствами и топтался на Карельском перешейке целый месяц, понес тяжелые потери и, по существу, преодолел только предполье. Лишь через месяц подошел к самой линии Маннергейма, но подошел выдохшийся, брать ее было уже нечем.

Вот тут-то Сталин и вызвал из отпуска Шапошникова, и на Военном совете обсуждался вопрос о дальнейшем ведении войны. Шапошников доложил, по существу, тот же самый план, который он докладывал месяц назад. Этот план был принят. Встал вопрос о том, кто будет командовать войсками на Карельском перешейке. Сталин сказал, что Мерецкову мы это не поручим, он с этим не справится. Спросил:

— Так кто готов взять на себя командование войсками на Карельском перешейке?

Наступило молчание, довольно долгое. Наконец поднялся Тимошенко и сказал:

— Если вы мне дадите все то, о чем здесь было сказано, то я готов взять командование войсками на себя и надеюсь, что не подведу вас.

Так был назначен Тимошенко.

На фронте наступила месячная пауза. По существу, военные действия заново начались только в феврале. Этот месяц ушел на детальную разработку плана операции, на подтягивание войск и техники, на обучение войск. Этим занимался там, на Карельском перешейке, Тимошенко, и занимался, надо отдать ему должное, очень энергично, тренировал, обучал войска, готовил их. Были подброшены авиация, танки, тяжелая, сверхмощная артиллерия.

В итоге, когда заново начали операцию с этими силами и средствами, которые были для этого необходимы, она увенчалась успехом, линия Маннергейма была довольно быстро прорвана.

Говоря о первом периоде финской войны, надо добавить, что при огромных потерях, которые мы там несли, пополнялись они самым безобразным образом. Надо только удивляться тому, как можно было за такой короткий период буквально ограбить всю армию. Щаденко, по распоряжению Сталина, в тот период брал из разных округов, в том числе из особых пограничных округов, по одной роте из каждого полка в качестве пополнения для воевавших на Карельском перешейке частей¹³.

Финская война была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко неблагоприятные впечатления за рубежом, да и внутри страны. Все это надо было как-то объяснить. Вот тогда и было созвано у Сталина совещание, был снят с поста наркома Ворошилов и назначен Тимошенко. Тогда же Шапошников, на которого Сталин тоже посчитал необходимым косвенно возложить ответственность, был под благовидным предлогом снят с поста начальника Генерального штаба и назначен заместителем наркома с задачей наблюдать за укреплением новых границ. Эта новая для него работа была мотивирована как крайне необходимая, государственно важная и требующая для своего осуществления именно такого специалиста, как он.

После этого встал вопрос о том, кому же быть начальником Генерального штаба. Сталин прямо тут же, на Совете, не разговаривая ни с кем предварительно, обратился к новому наркому Тимошенко и спросил:

— Кого вы рекомендуете в начальники Генерального штаба?
Тот замялся.

— Ну, с кем из старших штабов вы работали?

Обстоятельства сложились так, что как раз на финской войне Тимошенко из старших штабов работал с Мерецковым. Он сказал об этом.

— Так как, подходит вам Мерецков начальником Генерального штаба? Как он у вас работал?

Тимошенко сказал, что работал неплохо и что подходит.

Так состоялось назначение нового начальника Генерального штаба.

Мерецков пробыл, правда, в этой должности недолго. В феврале 1941 года, когда состоялась большая штабная игра и ему пришлось

как начальнику Генерального штаба делать доклад, он провалился с этим докладом совершенно ясно для всех, а Жуков; командовавший к этому времени Киевским особым военным округом, как раз на этих играх показал себя с наилучшей стороны и был тогда же назначен начальником Генерального штаба. На этой должности он пробыл до 28 июля 1941 года, когда сам попросил освободить его от этих обязанностей и направить на один из фронтов. Сталин удовлетворил тогда его просьбу и назначил вместо него Шапошникова, а Шапошников вошел с соответствующим представлением, и я был тогда же назначен его заместителем и начальником оперативного управления.

В должность начальника Генерального штаба я фактически вступил 15 октября 1941 года. Шапошников в то время приболел и выехал в Арзамас вместе почти со всем Генеральным штабом. Сталин вызвал меня к себе и приказал мне возглавить группу Генерального штаба в Москве при нем, оставив для этой работы восемь офицеров Генерального штаба. Я стал возражать, что такое количество офицеров — восемь человек — не может обеспечить необходимый масштаб работы, что с таким количеством людей работать нельзя, что нужно гораздо больше людей. Но Сталин стоял на своем и, несмотря на мои повторные возражения, повторил, чтобы я оставил себе восемь офицеров Генерального штаба и я сам — девятый.

Только уже позднее я понял его упорство в тот день. Оказывается, на аэродроме уже стояли в полной готовности самолеты на случай эвакуации Ставки и правительства из Москвы, и на этих самолетах были расписаны все места, по этому расписанию на всю группу Генерального штаба было оставлено девять мест — для меня и моих восьми офицеров. Об этом мне потом рассказал Поскребышев. Вообще говоря, то, что самолеты стояли в готовности, было абсолютно правильным мероприятием в той обстановке, когда прорвавшимся немецким танкам нужно было всего несколько часов ходу для того, чтобы быть в центре Москвы.

Надо сказать, что в начале войны Генеральный штаб был растащен и, собственно говоря, его работу нельзя было назвать нормальной. Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин был отправлен на фронт, Шарохин тоже, начальник оперативного управления Маландин тоже.

Все те, кто составлял головку Генерального штаба, были отправлены на разные фронты и в армии, что, конечно, не способствовало

нормальной работе Генерального штаба. Сталин в начале войны разогнал Генеральный штаб. Ватутин, Соколовский, Шарохин, Маландин — все были отправлены на фронт.

Что сказать о последствиях для армии тридцать седьмого — тридцать восьмого года? Вы говорите, что без тридцать седьмого года не было бы поражений сорок первого, а я скажу больше. Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решил начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел. Да что говорить, когда в тридцать девятом году мне пришлось быть в комиссии во время передачи Ленинградского военного округа от Хозина Мерецкову, был ряд дивизий, которыми командовали капитаны, потому что все, кто был выше, были поголовно арестованы.

В сорок первом году Сталин хорошо знал, что армия не готова к войне, и всеми правдами и неправдами стремился оттянуть войну. Он пытался это делать и до финской войны, которая в еще большей степени открыла ему глаза на нашу неподготовленность к войне. Сначала он пытался договориться с западными державами. К тому времени, когда уже стало ясно, что они всерьез договариваться с нами не желают, стали прощупывать почву немцы. В результате чего и был заключен тот пакт с Гитлером, при помощи которого Гитлер обвел нас вокруг пальца.

Когда в тридцать девятом году Риббентроп летел в Москву на своем самолете, то по дороге, в районе Великих Лук (не убежден, точно ли называю пункт. — *К. С.*), он был обстрелян нашей зенитной батареей. Командир зенитной батареи приказал открыть стрельбу по этому самолету — таково, видимо, было его настроение в отношении немцев. Мало того, что была открыта стрельба, на самолете, как впоследствии выяснилось, уже после посадки в Москве, были пробоины от попадания осколков.

Я знаю всю эту историю, потому что был направлен с комиссией для расследования этого дела на месте. Но самое интересное, что, хотя мы ждали заявления от немцев, их протеста, ни заявления, ни протеста с их стороны не последовало. Ни Риббентроп, ни сопровождающие его лица, ни сотрудники германского посольства в Москве никому не сообщили ни одного слова об этом факте. (Мои собственные соображения, что реакция немцев очень показательна. Видимо, они решили добиться заключения договора во что бы то ни стало, невзирая ни на что, именно поэтому не за-

явили протеста, который мог хотя бы в какой-то мере помешать намеченному. — *К. С.*)

Что немцы готовились к войне и что она будет, несмотря на пакт, были убеждены все, кто ездил в ноябре сорокового года вместе с Молотовым в Берлин. Я тоже ездил в составе этой делегации как один из представителей Генерального штаба. После этой поездки, после приемов, разговоров там ни у кого из нас не было ни малейших сомнений в том, что Гитлер держит камень за пазухой. Об этом говорили и самому Молотову. Насколько я понял, он тоже придерживался этой точки зрения.

Больше того, германский посол в Москве Шуленбург, который сопровождал нас туда и обратно, нашел возможным, несмотря на всю рискованность этого его положения, на обратном пути говорить о пакте, в то же время настойчиво намекая на то, что взаимоотношения между нашими странами оставляют желать много лучшего. Короче говоря, он старался нам дать понять, что считает возможным возникновение войны.

Во время пребывания в Берлине на приеме я сидел рядом с Браухичем. Хотя я был в штатском и официально не фигурировал как представитель Генерального штаба, но он знал, кто я, и через переводчика спросил меня, помню ли я о том, что мы знакомы, что это не первая наша встреча. Я, разумеется, помнил это. А первая наша встреча была еще в тридцать втором году на больших маневрах в районе Овруча (не убежден в точности названного пункта. — *К. С.*). В тот период отношения наши с Германией были весьма тесными. В ряде пунктов на нашей территории находились немецкие центры, в которых происходила подготовка офицеров, так как немцы, согласно условиям Версальского мира, не имели права делать это в Германии. Были танковые и авиационные центры. На маневрах тридцать второго года, где мы впервые показали достоинства крупных (по тому времени) механизированных соединений — танковых бригад, были военные атташе целого ряда армий, в том числе германский представитель. Но если представителям других армий показали лишь часть происходящего, то немцам показали все. Их возили по другим маршрутам, в другие места, на других машинах скрытно от представителей других армий. Я участвовал в этих маневрах, и у меня на командном пункте вместе с Ворошиловым и Смородиновым был Браухич. Он наблюдал за ходом боевых действий в течение довольно длительного времени, потом он отошел, потом Смородинов вернулся

ко мне и сказал, что Браухич сделал вам комплимент, заявив, что все, что он наблюдал здесь, делается в лучших традициях немецкой военной школы. Такой была наша первая встреча с ним. Но, конечно, в сороковом году, во время встречи в Берлине, это был уже не тот, другой, совсем другой Браухич.

Помимо событий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, большой вред в подготовке армии к войне принесли известные выводы, сделанные после испанской войны. Под влиянием таких, возвысившихся после испанской войны деятелей, как Кулик, были пересмотрены взгляды на использование танковых войск, ликвидированы уже имевшиеся крупные механизированные соединения, — пошла в ход теория, что они не нужны, что танки нужны только непосредственно для поддержки пехоты. Заново крупные механизированные соединения стали создавать уже только перед войной, после того как немцы показали на деле, что такие соединения могут делать для разгрома противника. Была потеряна масса времени.

После прихода Гитлера к власти отношения с Германией резко изменились. Немецкие военные учебные центры на нашей территории были ликвидированы, отношения становились все более враждебными. В связи с этим стали пересматриваться и оперативные планы. Раньше, по прежнему оперативному плану, как основной наш противник на западе рассматривалась Польша, теперь, по новому оперативному плану, как основной противник рассматривалась гитлеровская Германия.

Когда имевшие отношение к военному делу люди задают вопросы, имелись ли у нас перед войной оперативные планы войны, то это звучит по меньшей мере нелепо. Разумеется, оперативные планы имелись, и весьма подробно разработанные, точно так же, как и мобилизационные планы. Мобилизационные планы были доведены до каждой части буквально, включая самые второстепенные тыловые части вроде каких-нибудь тыловых складов и хозяйственных команд. Планы были доведены, проверены. Мало того, была произведена специальная мобилизационная проверка.

Что касается оперативных планов, то я как человек, по долгу своей службы сидевший в Генеральном штабе на разработке оперативных планов по Северному флоту, Балтийскому флоту, Ленинградскому округу, Северо-Западному округу и Западному особому округу, хорошо знаю, насколько подробно были разработаны все эти планы. Я сидел на этих планах и на внесении

в них всех необходимых коррективов с сорокового года. Так как эти планы были связаны с действием двух флотов, то я также не вылезал в то время из кабинетов Кузнецова и его начальника штаба Галлера.

Беда не в отсутствии у нас оперативных планов, а в невозможности их выполнить в той обстановке, которая сложилась. А сложилась она так потому, что Сталин, как я уже сказал, любыми средствами, всеми правдами и неправдами старался оттянуть войну. И хотя мы располагали обширными сведениями о сосредоточении крупных контингентов германских войск в непосредственной близости от наших границ уже начиная с февраля сорок первого года, он отвечал категорическим отказом на все предложения о приведении наших войск где-то, в каких-то пограничных районах в боевую готовность. На все у него был один и тот же ответ: «Не занимайтесь провокациями» или «Не поддавайтесь на провокацию». Он считал, что немцы могут воспользоваться любыми сведениями о приведении наших войск в боевую готовность для того, чтобы начать войну. А в то, что они могут начать войну без всяких поводов с нашей стороны, при наличии пакта, до самого конца не верил. Больше того, он гневно одергивал людей, вносящих предложения об обеспечении боевой готовности в приграничных районах, видимо, считая, что и наши военные способны своими действиями спровоцировать войну с немцами.

Тимошенко бесконечное количество раз докладывал Сталину сведения о сосредоточении немецких войск и о необходимости принять меры к усилению боевой готовности, но неизменно получал в ответ категорическое запрещение. Больше того, пользуясь своим правом наркома, он старался сделать все, что мог, в обход этих запретов, в том числе проводил местные учебные мобилизации и некоторые другие меры.

Но при всем том, что я сказал, о Сталине как о военном руководителе в годы войны необходимо написать правду. Он не был военным человеком, но он обладал гениальным умом. Он умел глубоко проникать в сущность дела и подсказывать военное решение.

В связи с вашей книгой скажу кое-что о Сталинградской операции, которой мне пришлось заниматься.

В последний период, перед началом нашего ноябрьского наступления, я был на Сталинградском фронте. Облазил там буквально все, готовя наступление. Наступление было назначено

на девятнадцатое — по Юго-Западному и Донскому фронтам, на двадцатое — по Сталинградскому.

Вдруг семнадцатого вечером, когда я вернулся из частей, на командном пункте раздаётся звонок из Ставки. Звонит Сталин.

— Здравствуйте. Есть к вам срочное дело. Вам надо прибыть в Москву.

— Как прибыть в Москву, товарищ Сталин? Послезавтра начинается наступление, я не могу ехать!

— Дело такого рода, что вам необходимо прибыть в Москву. Успеете вернуться. Надо обсудить с вами...

Я пробовал ещё объяснить невозможность своего отъезда с фронта, но Сталин ещё раз повторил, что дело такого рода, что мне необходимо быть завтра в Москве у него. Ни в какие объяснения он при этом не вдавался.

Утром я вылетел. Прилетел в Москву около одиннадцати утра. Позвонил Поскребышеву. Он сказал, что Сталин на «ближней даче», но, очевидно, ещё спит. Я позвонил туда, Сталин действительно ещё спал, и мне оставалось только ждать. Я попросил передать, что прибыл и жду его распоряжений.

Через два или три часа позвонил Поскребышев и сказал, чтобы я прибыл к шести часам вечера «на уголок». Так называлась квартира Сталина в Кремле. Если на дачу в Кунцеве — говорили «ближняя дача», если в Кремль — «на уголок».

Когда я в шесть часов приехал, совершенно не представляя, что случилось и зачем я вызван, в кабинете у Сталина шло совещание Государственного комитета обороны. Были Маленков, Берия, Микоян, Вознесенский, Молотов.

Сталин поздоровался со мной, предложил присесть. Потом подошел к своему письменному столу, взял какой-то конверт и, сев за стол, бросил его по столу мне.

— Вот, почитайте, пока мы здесь кончим свою гражданскую войну...

Он с членами Государственного комитета обороны продолжал обсуждать какие-то начатые ещё до моего прихода вопросы, а я вынул из конверта лежавшие там листы и стал их читать с величайшим изумлением.

Сталину писал командир танкового корпуса генерал Вольский. Этот танковый корпус, сводный, полнокомплектный, хорошо подготовленный, должен был стать главной ударной силой нашего прорыва на Сталинградском фронте. Именно ему предстояло отрезать немцев

с юга, прорваться к Калачу навстречу танковым частям Юго-Западного фронта. Именно на этот корпус на Сталинградском фронте делалась ставка как на ударную силу. Именно в этом корпусе я особенно часто бывал в последнее время, дневал и ночевал там, проверял его подготовку, многократно разговаривал с производившим на меня отличное впечатление его командиром генералом Вольским. Именно с этим Вольским я расстался только вчера днем, из его корпуса поехал на командный пункт фронта, где меня застал звонок Сталина.

Вольский писал Сталину примерно следующее. Дорогой товарищ Сталин. Считаю своим долгом сообщить вам, что я не верю в успех предстоящего наступления. У нас недостаточно сил и средств для него. Я убежден, что мы не сумеем прорвать немецкую оборону и выполнить поставленную перед нами задачу. Что вся эта операция может закончиться катастрофой, что такая катастрофа вызовет неисчислимые последствия, принесет нам потери, вредно отразится на всем положении страны, и немцы после этого смогут оказаться не только на Волге, но и за Волгой...

Дальше следовала поразившая меня подпись: Вольский.

Я прочел эту бумагу с величайшим изумлением и недоумением. Ничто, абсолютно ничто в поведении Вольского, в его настроении, в состоянии его войск не давало возможности поверить, что именно этот человек мог написать эту бумагу.

Я прочел письмо, положил в конверт и несколько минут ждал.

Сталин закончил обсуждение вопроса, которым они занимались, поднял на меня глаза и спросил:

— Ну, что вы скажете об этом письме, товарищ Василевский?

Я сказал, что поражен этим письмом.

— А что вы думаете насчет предстоящих действий после того, как прочли это письмо?

Я ответил, что по поводу предстоящих действий продолжаю и после этого письма думать то же, что и думал: наступление надо начинать в установленные сроки, по моему глубокому убеждению, оно увенчается успехом. Сталин выслушал меня, потом спросил:

— А как вы объясняете это письмо?

Я сказал, что не могу объяснить это письмо.

— Как вы оцениваете автора этого письма?

Я ответил, что считаю Вольского отличным командиром корпуса, способным выполнить возложенное на него задание.

— А теперь, после этого письма? — спросил Сталин. — Можно ли его оставить на корпусе, по вашему мнению?

Я несколько секунд думал над этим, потом сказал, что я лично считаю невозможным снимать командира корпуса накануне наступления и считаю правильным оставить Вольского на его должности, но, конечно, с ним необходимо говорить.

— А вы можете меня соединить с Вольским, — спросил Сталин, — чтобы я с ним поговорил?

Я сказал, что сейчас постараюсь это сделать. Вызвал по ВЧ командный пункт фронта, приказал найти Вольского и соединиться с ним через ВЧ и полевой телефон.

Через некоторое время Вольского нашли.

Сталин взял трубку. Этот разговор мне запомнился, и был он примерно такого содержания.

— Здравствуйте, Вольский. Я прочел ваше письмо. Я никому его не показывал, о нем никто не знает. Я думаю, что вы неправильно оцениваете наши и свои возможности. Я уверен, что вы справитесь с возложенными на вас задачами и сделаете все, чтобы ваш корпус выполнил все и добился успеха. Готовы ли вы сделать все от вас зависящее, чтобы выполнить поставленную перед вами задачу?

Очевидно, последовал ответ, что готов. Тогда Сталин сказал:

— Я верю в то, что вы выполните вашу задачу, товарищ Вольский. Желаю вам успеха. Повторяю, о вашем письме не знает никто, кроме меня и Василевского, которому я показал его. Желаю успеха. До свидания.

Он говорил все это абсолютно спокойно, с полной выдержкой, я бы сказал даже, что говорил он с Вольским мягко.

Надо сказать, что я видел Сталина в разных видах и, не преувеличивая, могу сказать, что знаю его вдоль и поперек. И если говорить о людях, которые натерпелись от него, то я натерпелся от него как никто. Бывал он и со мной, и с другими груб, неповадительно, нестерпимо груб и несправедлив. Но надо сказать правду, что бывал и таким, каким был в этом случае.

После того как он кончил разговор, он сказал, что я могу отправиться на фронт.

В предыдущий период мы готовили предстоящие удары вместе с Жуковым: он — на севере, я — на юге. К этому времени Жуков уже уехал для выполнения других, новых заданий, и я остался в качестве представителя Ставки на всей этой операции. И летел я из Москвы утром уже не на Сталинградский фронт, а на Юго-Западный, на котором наносился главный удар.

Прибыл я туда уже днем, через несколько часов после начала наступления, которое началось в соответствии с планом, но без меня.

Прилетев, выехал к танкистам на направление главного удара. Был там. Потом, когда задержалось дело в армии Чистякова и у танкистов Кравченко, выехал к Чистякову с намерением навалиться на них, дать им духу за нерешительные действия, хотя это вообще не в моем характере, но необходимо было крупно поговорить. К счастью для Чистякова и Кравченко, положение, пока я туда добрался, исправилось, Кравченко прорвался наконец, и предстоящий нам крупный разговор не состоялся, к счастью для них, да и к счастью для меня, конечно.

На юге Сталинградского фронта дело тоже шло хорошо: румын, конечно, прорвали. Вольский действовал решительно и удачно, полностью выполнил свою задачу. Когда оба фронта соединились в районе Калача, через день или два после соединения я впервые после всего происшедшего вновь увидел Вольского.

Я был еще на Юго-Западном фронте и докладывал Сталину о соединении фронтов и об организации внутреннего и внешнего фронта окружения. При этом докладе он спросил меня, как действовал Вольский и его корпус. Я сказал так, как оно и было, что корпус Вольского и его командир действовали отлично.

— Вот что, товарищ Василевский, — сказал Сталин. — Раз так, то я прошу вас найти там, на фронте, хоть что-нибудь пока, чтобы немедленно от моего имени наградить Вольского. Передайте ему мою благодарность, наградите его от моего имени и дайте понять, что другие награды ему и другим — впереди.

После этого звонка я подумал: чем же наградить Вольского? У меня был трофейный немецкий «вальтер», и я приказал там же, на месте, прикрепить к нему дощечку с соответствующей надписью, и, когда мы встретились с Вольским, я поздравил его с успехом, поблагодарил за хорошие действия, передал ему слова Сталина и от его имени этот пистолет. Мы стояли с Вольским, смотрели друг на друга, и с ним было такое потрясение, что этот человек в моем присутствии зарыдал, как ребенок.

Так выглядит эта история с Вольским, который и до этого и в дальнейшем был в моих глазах превосходным танкистским начальником и отличным человеком.

Вы спрашиваете: чем было вызвано его письмо? Думаю, что с ним произошел перед наступлением шок, потрясение. Он действи-

тельно испугался. Ему показалось, что ничего не выйдет. Напряжение, потрясение — это случалось с людьми на войне, и бывало не только тогда, когда мы только еще начинали побеждать, а и потом, много позже, — нервы не выдерживали. А в данном случае чувство страшной ответственности и страх, что все поставлено на карту и вдруг мы не сделаем того, чего ждет от нас страна, — все это было особенно острым. Особенно остро испытывали это чувство люди, которым еще не приходилось побывать ни в одном удачном наступлении. Кю времени Сталинградской операции те начальники, командующие, которые участвовали в Московской битве, которым уже пришлось наступать, гнать немцев, ощущали большую уверенность. А те, которым этого не приходилось еще до сих пор делать, — а таких было большинство, — находились в страшном напряжении ожидания: выйдет ли то, что мы задумали? Так было и под Сталинградом. Но было и потом. Бывали моменты, когда люди от перенапряжения вдруг переставали верить в успех.

Помню, например, как на реке Миус, когда уже было подготовлено наступление, я приехал в армию Герасименко. Герасименко не играл главной роли в предстоящем наступлении, она была отведена Цветаеву и другим, но его армия тоже выполняла наступательные задачи. И вот мы приехали утром накануне наступления на КП вместе с Толбухиным. Разговаривали с Герасименко. Все было нормально. Я и до этого у него бывал. Он готовился к наступлению, и к нему не было никаких особых замечаний ни у меня, ни у Толбухина. В разговоре я его спросил:

— Ну, как у вас войска, как они себя чувствуют?

И вдруг он, срываясь на крик, сказал:

— Войска... Войска... — и, махнув рукой, добавил: — Ничего у нас не выйдет!

— Как не выйдет?

— Ничего у нас не выйдет...

Мы вызвали в его присутствии начальника штаба армии, спросили его мнение о готовности частей армии к операции. Он сказал, что все в порядке, все подготовлено, есть уверенность в успехе. Тогда я вынужден был сказать в присутствии Толбухина, что раз командующий армией не верит в успех и заявляет об этом перед началом наступления, то нам придется поставить вопрос перед Ставкой о его отстранении, потому что с таким настроением идти в наступление невозможно.

И вдруг Герасименко как-то весь обмяк и произнес почти, можно сказать, со слезой в голосе, и вид у него был совершенно измученный:

— Извините, не знаю, что со мной случилось, как все это у меня вырвалось. Измаялся. Всю ночь не спал, думал, как выйдет, как получится... Изнервничался, издергался... Устал. Надо поспать.

В Ставку мы не доложили, от армии его не отстранили. Он выспался, пришел в себя и в дальнейшем выполнил причитающуюся на его долю задачу...

...А то, как было с Вольским и Герасименко, это бывает на войне. Вроде все ничего, а в последний момент перед наступлением вдруг «затряслась портянка»!

Видел Сталина в гневе, в раздражении, даже в исступлении. Ругаться он умел, беспощадным быть тоже. Помню историю в районе, кажется, Холма (не уверен в пункте. — К. С.) в сорок втором году зимой, когда дивизия Масленникова попала в окружение и осталась на голодном пайке. Мне как начальнику Генерального штаба было поручено организовать ее снабжение по воздуху. Непосредственно как авиатор занимался этим делом Жигарев. И вот случись же так, что целый отряд транспортных самолетов, который сбрасывал провиант, промахнулся, и весь груз сбросил на глазах у дивизии Масленникова немцам. Масленников, видя это, дает отчаянную радиограмму: «Мы дышим с голоду, а вы кормите немцев!» Радиограмма попала к Сталину. Сталин вызвал меня и Жигарева и был во время этого разговора настолько вне себя, что я один момент боялся, что он своими руками расстреляет Жигарева тут же, у себя в кабинете.

К зиме сорок третьего — сорок четвертого года, когда мы вышли 4-м и 3-м Украинскими фронтами на нижнее течение Днепра и отрезали Крым, но не ворвались в него, у немцев оставался против нас на восточном берегу Днепра так называемый Никопольский плацдарм. Я так же, как и командующие фронтами, не считал, что плацдарм представляет для нас непосредственную опасность, и считал необходимым решать дальнейший исход дела на западном берегу Днепра — нанося удары вглубь, через Днепр, значительно севернее плацдарма. Мы считали, что тем самым заставим немцев самих уйти с этого плацдарма.

Именно так мы докладывали Сталину и докладывали не один раз. Но он в этом случае уперся. Его крайне беспокоил этот плацдарм; он боялся, что немцы сосредоточат на нем силы и ударом с плацдарма на юго-восток, к морю отрежут 4-й Украинский

фронт. Никакие наши убеждения на него не действовали, и он требовал от нас во что бы то ни стало отнять у немцев этот плацдарм. И сколько мы положили людей в безуспешных атаках на этот плацдарм, один бог знает! Несколько раз настаивали на отмене приказа, мотивируя невыгодность для нас лобовых ударов по этому плацдарму, — ничего не помогло.

Через два или три месяца, уже в разгаре зимы, Сталин запросил наши соображения о предстоящем наступлении 4-го и 3-го Украинских фронтов. Я как представитель Ставки, координировавший действия обоих фронтов, представил вместе с командующими наши соображения. У нас, особенно после потерь на Никопольском плацдарме, с силами было не так густо, и мы запросили значительное количество сил и средств, необходимое, по нашему мнению, для решительного наступления обоих фронтов.

Через день после того как наши соображения были направлены в Ставку, раздался звонок Сталина.

— Говорит Сталин. Василевский?

— Да. Слушаю вас, товарищ Сталин.

— Скажите, Василевский, кто у нас начальник Генерального штаба?

Что ответить на такой вопрос? Я ответил, что официально начальником штаба по сей день являюсь я. Во всяком случае, я так считаю.

Сталин на это отвечает:

— И я так до сих пор считаю. Но если вы начальник Генерального штаба, почему же вы пишете в Ставку такую ерунду, которую вы написали в своем проекте директивы? Начальник Генерального штаба не имеет права писать такую ерунду. Вы требуете у Ставки того-то и того-то, того-то и того-то, но вы как начальник Генерального штаба должны знать, что у нас этого нет и что нам сейчас неоткуда взять то, что вы требуете.

Я ответил, что мы указали то, что нам необходимо для наступления, и я считаю, что, во всяком случае, часть этого можно взять с других фронтов.

— Другим фронтам тоже надо наступать, — отвечает Сталин, — и вы это знаете как начальник Генерального штаба. А пишете такую ерунду.

Несколько секунд я молчу, и он молчит. Потом он говорит:

— Выходите из положения своими средствами. Ограбьте Толбухина. У него есть авиационный корпус, есть механизированный

корпус, в тылу, во втором эшелоне, у него есть армия. Заберите все это у него, ограбьте его, поставьте в оборону весь 4-й Украинский фронт, а все это отдайте Малиновскому. Вы же сами не так давно предлагали решать дело на западном берегу Днепра, вот и решайте дело не сразу обоими фронтами, а последовательно. Ограбьте Толбухина, поставьте его в оборону, отдайте все, чем он располагает, Малиновскому, наносите удар войсками Малиновского, и не откладывая до весны, а сейчас же, зимой, чем раньше — тем лучше. А когда добьетесь успеха и Малиновский продвинется, поставьте его в оборону, ограбьте его, отдайте все Толбухину и всеми силами идите по Крыму.

Форма разговора устроить не могла, но с существом нельзя было не согласиться. Во многих случаях — и чем дальше, тем чаще — Сталин умел правильно и глубоко решать стратегические оперативные вопросы и подсказывал наиболее верные решения. И говоря о нем, этого тоже не следует упускать из виду.

Я поехал к Малиновскому, поговорил с ним, и мы в соответствии с предложением Сталина спланировали операцию, которая впоследствии оправдала себя на деле.

<...>

Я спросил, чем, по его мнению, объясняется, что Сталин, изменивший свое мнение к концу войны о целом ряде людей, у которых были заслуги в прошлом, но которые, как выяснилось, не принадлежали к числу наиболее способных и перспективных людей в эту войну, не переменял свое мнение о Еременко и много раз назначал его на разные фронты, хотя количество фронтов, которыми в разное время Еременко командовал, в то же время говорит само за себя, что он был, очевидно, далеко не всегда на высоте.

— Видите ли, — сказал Александр Михайлович, — сыграло роль то, что я вам уже говорил, — его умение выкручиваться, втирать очки и умение заниматься подхалимажем, но у Сталина, надо сказать, были известные основания и к положительной оценке деятельности Еременко в такой тяжелый момент, как начало сталинградских событий. На подступах к Сталинграду в августе месяце Еременко действовал упорно и умело, он, надо отдать ему должное, многое сделал для того, чтобы сдержать наступление немцев. И Сталин это высоко оценил. Впоследствии он говорил о Еременко, что это генерал обороны. Когда наступление Сталинградского, переименованного уже к этому времени в Южный, фронта продолжало развиваться дальше и дальше, Сталин счел

целесообразным заменить командующего фронтом. Он меня спросил, кого я считаю возможным выдвинуть на роль командующего фронтом. Я сказал ему, что на эту роль подходит Малиновский, который успешно командовал армией под Котельниково и впоследствии, имел и опыт командования фронтом. Сталин при этом вспомнил Малиновскому его неудачу в роли командующего фронтом во время летнего прорыва немцев, взятие ими Ростова и Новочеркаска, но тем не менее, после того как я повторил свою положительную характеристику Малиновского, согласился и принял решение назначить его командующим фронтом, а Еременко перевести на Северо-Западный фронт¹⁴.

Генералом обороны называл Сталин и Ивана Ефимовича Петрова. О Петрове у него сложилось мнение по его действиям в Одессе, в Севастополе и на Кавказе, что он способен к упорной обороне, но не проявляет достаточной энергии, напора в наступлении. По отношению к Петрову, как мне кажется, мнение это было несправедливым. Петров обладал всеми данными, необходимыми командующему фронтом для действий в любой обстановке — и в обороне, и в наступлении.

<...>

